Случайные встречи...
Иоланта Сержантова
12+

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Сборник рассказов, притч, новелл, эссе о природе Родины, любовь к которой формирует ответственность перед нею … Рекомендуется для использования во внеклассной работе с учащимися школ и средне-специальных учебных заведений.

- Иоланта Сержантова
  - Случайная встреча
  - Нижний
  - Яблочко
  - Выпускной
  - День
  - Расчёт
  - Владимир Иванов
  - Клёст
  - Пирожок
  - За одну жизнь
  - Мороз
  - Мир, в котором есть метель
  - Запретный плод
  - Кот
  - Оттепель
  - Усач
  - Никогда
  - Воробей
  - Сколько до осени дней…
  - Музыка неба
  - Радость
  - Крокодильи слёзы
  - Печаль
  - Поезд Москва-Владивосток
  - Стулья
  - Одноклассница
  - Мама
  - Хорошее
  - Если бы теперь…
  - Место, где ты стал самим собой…
  - Холостой
  - Недосуг
  - Так и знай…
  - Гроза
  - Митрич

- К чему бы это…
- Подсказка
- Место, где живут люди…
- Небо
- Тот, кому нечего терять
- «…время всякой вещи…»
- Некто
- Корова Конструктор
- Вредное молоко
- …На губах весны
- Стужа
- Кто зачем живёт
- Всё будет хорошо

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30

- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74

- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99

Иоланта Сержантова
Случайные встречи…

Случайная встреча

Как ясно и светло на душе, радостно, уютно… Вокруг серость и сумрак, словно день слился с ночью, а земля с небом. И всё бы оно было именно так, если б олень, что шёл навстречу, не остановился вдруг. Он не кинулся бежать, вырываясь из цепких рук страха и кустов, не распускал нервно, рывком петли связанной травы, не стряхивал торопливым бегом с зимних жёстких ковров снег. Нет! Он был иным. Распахивая широкие ноздри навстречу, клонил тяжёлую мягкую голову долу, и тихо, спокойно шёл мимо. Не сторонясь, не уступая дороги, но мирно взглядывая снизу вверх, вопрошая как бы:

– Ты тоже… гуляешь тут?

И на этот столь явный, беззвучный вопрос, я ответил своим:

– А ты чего такой… грустный?

Олень фыркнул громко, словно рассмеялся, и обрызгал, ибо как раз проходил мимо, едва не касаясь моего плеча. Я снял варежку и вытер тыльной стороной руки щёку, а олень, сконфузившись, хрустнул ухом, поворотя его к лесу.

– Да, пустяки! Бывает! – Беззаботно махнул рукой я, а олень медленно, благодарно кивнул, разобравшись и с жестом, и с музыкой слов. – Знаешь, сказать кому, не поверят. – Улыбнулся я, глядя ему прямо в глаза.

– Так и не говори! – Промолчал олень, а у самого – весёлая лукавая искра, так и подпалила взгляд.

– Слушай, а правда… Чего ж ты не убежал? Ты совсем меня не боишься?!

– А что, надо? – Почесал под лопаткой олень.

– Нет! Нет, конечно!

– Ну, вот и я так подумал. – Олень нагнулся и пожевал коленку.

– Блохи? – Посочувствовал я.

Олень жалобно вздохнул. И только я хотел предложить ему помощь, как вдруг, перекинув взгляд через моё плечо, он заметил кого-то вдали. Олень занервничал, и, брыкнув[1] осторожно по покатому снежку подле моей ноги, прошептал, пользуясь порывом ветра:

– Пора мне…

Ладный, статный, – олень прижал уши, пригнул голову и резко выпрямил её, развернувшись в тот же миг, так что снежная

пыль бледным облаком прикрыла не одни лишь крутые бока, но его всего, от карих ресниц до розовато-коричневых копыт.

Улыбаясь счастливо и грустно одновременно, я шёл домой. Лесник, которому не удалось застать нас вдвоём с оленем, остановил меня, чтобы спросить:

– Кто это был, с тобой?

– Со мной? Никого! Показалось…

Я не любил врать, но на то он и лесной сторож, чтобы читать по следам, как по букварю, и вскоре поймёт всё сам, да, скорее всего, промолчит о нашей случайной встрече.

Нижний

– И что ж ты суетишься, неугомонный? Хочешь, чтобы тебя заметили, – займись чем-нибудь полезным!

– Чем!? Скажи, и я – сразу же!

– Вот, чудак-человек, да любым, интересным тебе и миром искомым делом! А то ж беспокоишься, других тревожишь попусту, как газетой по гвоздю – забить не забьёшь, но хлопаешь… Пыли много.

Утро расчёсывало бесформенный колтун леса, и он понемногу стал обретать форму кроны, проявились толстые, густые, растущие низко над бровями оврагов, цыганские пряди, посечённые в самом верху многими мелкими веточками. Слабые, податливые на первый взгляд, с нелёгкой самотной[2] мудростью усмиряли они грубость ветра, порывы дождя и потоки снега, перекладывая его бремя на более крепких нижних[3]. Ни единожды не побывав в цирке, веточкам, не иначе, как по наитию, оказался хорошо знаком этот уклад, по которому: красивое и лёгкое, нахальное, бесшабашное, яркое – всё поверху, а то, на чём держится мир – доброта, сила, всепрощение, основательность – тыл! – мало кому видимое, незаметное, рвёт жилы внизу, ибо недосуг оглядываться, да проверять – не вменили ли ему кто усилий в вину. Не для того они, не из интересу, но одной лишь совести ради. Для неизменной крепости мира, что, как стоял до них, так и простоит ещё тысячи лет.

Это ж какое надо иметь сердце, чтобы по всю жизнь прожить нижним. Осознанно, не упрекая никого в тяжести ноши, утруждая себя чужим, как своим.

Покуда ветви и веточки упиваются собственным совершенством, нет-нет, да вылетит из лесу дятел, либо другая какая птица, присядет ближе к окну. А вот уже косули с лисами бродят неподалёку, олень переночевал в снегу под яблоней, и перекопал дорожку подле дома кабан… К чему, зачем напоминают они об себе? Проходят на виду нарочно, чтобы было видно их, заметили чтоб. Для того, дабы не позабыли про них невзначай?.. Тихонько присматриваются из-за кустов, чем заняты, или ищут встречи, чтобы глянуть прямо, глаза в глаза, постичь с налёта, – у кого искать помощи, в случае чего, ближе прибиться или бежать прочь, без оглядки.

Мы выглядим не такими, каковы в самом деле, зачастую пугаем друг друга, доводим до слёз, с намерением утешить после.

И от того лишь представляемся добрыми. Так синицы стращают воробьёв. Обнимают крыльями ту часть эфира подле себя, которая им принадлежит, ерошат короткие чубы, чтобы казаться старше, плоше, больше, надувают щёки, будто бы дуют на горячее. Остывают скоро, как тот же, налитый в блюдце, чай. И неясно – всерьёз они или так только; из гонора, либо от страха. Со стороны-то, – будто меряются уловом подгулявшие возле лунки рыбаки.

…Вечерняя заря словно явилась затем, чтобы вновь привести в беспорядок лес. Его причёска снова безнадёжно испорчена, и в пышности своей мрачна, как всё неопределённое. Сытые птицы улетели в тепло, а в доме пламя машет из глубины печи жаркой ладонью. То ли прощается, то ли желает здравствовать, – кому про то забота? Тепло, сухо, да и ладно. Ибо скрытна печь, и занята всего одним, но добрым делом.

Яблочко

Было слышно, как за окном кто-то ходит. Скрипучие ботинки налипшего на чью-то поступь снега звучали расстроенной первой струной. Словно бы кто никак не решался войти в дом и долго раздумывал, прежде чем постучать.

– Ну, право слово, заходите уже, что ли, – с изрядной долей досады я распахнул дверь, но с удивлением обнаружил, что там никого нет. – Что за дела?

Осматривая пространство, на которое хватало взгляда, заметил в саду поползня, что во всю трудился над замороженным яблочком. Оно чудесным образом избежало печи зимы. Обронённое ветром в снег, оказалось совершенно целёхонько, будто бы только что спрыгнуло с ветки, с намерением укатиться как можно дальше, да не рассчитало со сроком. Было б ему решиться пораньше, а не в канун первого стоящего снегопада. Неяркий розовый бочок яблока сиял, затерянный в складках снега, как капелька крови на нежном пальчике белошвейки, ловко настигнутым иглой.

Не насытившись, но добившись некой степени довольства, поползень улетел, уступив место дятлу. Тот взялся за дело основательно. Обхватив яблочко крепкими пальцами, поздоровался с ним, притронувшись щекой, сравнил его румянец со своею бледностью, и от приятности сей встречи, от полноты чувств принялся поливать хохотом округу так, как это умеют одни дятлы: «Ах-ах-ах!» – тонко всхлипывал он, содрогаясь всем телом. Повременив для приличия, дятел расслабил шарф языка[4], и лишь после отважился отломить первый кусочек. Вкушал он так, словно решил устроить себе в яблочке дупло, неутомимо простукивая его от центра к краю.

Наблюдая за птицами, я совсем позабыл, что неодет, и не сразу почувствовал, как зябну, а когда вдруг чихнул, спугнув дятла, то расстроенным ушёл в дом.

Целый день, до самого вечера я поглядывал в ту сторону, где лежало яблочко. Да, либо оно уж было съедено, то ли выпадала пустая минута, чтобы поглядеть, но я так и не заметил поблизости от него никого больше.

Наутро, когда мы с собакой вышли погулять в сад, яблочко-таки нашлось. Предмет вчерашних воздыханий, тревог и наслаждений, лежал полностью опустошённым. Одна лишь твёрдая, прихваченная льдом скорлупка его кожицы держала

форму. Нетронутую никем румяную щёчку пощипывал мороз, а ветер, что стоял рядом, шумно вздыхал у него над ухом, сдувая с деревьев сухой снег, но так и не посмел его остановить.

Выпускной

Моим одноклассникам посвящается…
г. Воронеж, средняя школа №21, 10 «б»
Выпуск 1981 года

О том, каким будет наш выпускной вечер, разговоры велись чуть ли с конца девятого класса. Странным образом, мы не придавали значения грядущей разлуке. Скорее всего, не верили в неё. Проучившись десять лет вместе, мы не представляли жизни друг без друга. Окончание школы казалось чем-то вроде затяжных каникул, после которых мы, конечно же, непременно соберёмся, рассядемся по своим местам, откроем тетради, и, как никогда внимательно, станем слушать учителя и записывать. И это никогда не закончится.

Ничто не могло омрачить нам приятности расставания со школой, но на весенних каникулах, во время поездки в Киев, случилась непредвиденное. Один из учеников отравился питьём, и попал в реанимацию, а Отдел образования не придумал ничего лучше, как, в назидание, уволить директора. И последнюю, четвёртую четверть, школа работала под руководством другого, совершенно чужого нам человека.

– Имейте в виду, – любое нарушение и аттестат выдан не будет. – Мелкий, худой новый директор школы, пришедший на смену уволенному, словно восполняя недостаток роста, сидел прямо на учительском столе, и, оправдывая свою фамилию Ляпкин[5], бросался словами, как грязью, упиваясь властью над учащимися. И это было так явно, так неприятно, и так не по-советски.

– Вы, ничтожные, презренные люди, думаете, что я не справлюсь со всеми вами? Ха! Я научу вас уважать порядок! Вы запомните меня на всю оставшуюся жизнь. Я буду сниться вам в страшных снах! И никто, я повторяю, – никто не дёрнется, потому что все вы у меня вот здесь, – Ляпкин сжал свой костлявый кулачок и потешно потряс им у себя перед носом.

– Никакого теплохода, никакого рассвета, только танцы в актовом зале под надзором учителей и родителей, а потом по домам. – Продолжал он, постукивая каблуком ноги, обутой в ботинок неприлично малого, для взрослого человека, размера, по ножке парты.

И ведь он даже не пытался скрыть, что шантажирует нас, а, заранее вымарывая из сердец само предвкушение радости грядущего выпускного вечера, срывал с уже почти что вчерашних школьников крылья грядущей свободы выбора, так же безжалостно, как обрывают лепестки с цветов ромашки, гадая про нелюбовь.

Всем своим видом Ляпкин вызывал удивление и насмешки. Он не мог не понимать это, а посему боролся за своё право быть директором, как умел. Впрочем, выходило у него дурно. Будь он строг, но весел и, что главное, – справедлив, ему бы наверняка простили назначение на место любимого всеми Юрия Макаровича, – ну, не сам же он себя назначил, в конце концов. Но Ляпкин желал царить со своего трона, болтая ножками и зловеще усмехаясь. Ну и кому такое понравится?

– За каждое опоздание – «двойка» в журнал, за прогул без уважительной причины – «кол».

– А если мне надо будет уехать на соревнования? – со своего места поинтересовался я.

– Кто это посмел вякнуть, пока я разговариваю?! – Взвился Ляпкин. – Встать!!!

Я преувеличенно медленно поднялся со своего места:

– Ну, во-первых, я не вякаю, а говорю, и, во-вторых, – почему вы позволяете себе беседовать с нами в подобном тоне? Кто вам дал такое право?

– Что-о-о!?! – Ляпкин побагровел, соскочил со стола, на котором сидел, сразу же потеряв при этом в росте, засуетился ещё больше, и принялся выкрикивать нечто в высшей степени оскорбительное. Бурный поток, геенна его бессвязной речи доносила до наших ушей слова, среди которых отчётливо звучали: «колония», «тюрьма» и даже «расстрел».

Дождавшись, пока директор выговорится, я собрал портфель и спокойно сообщил:

– Подобная экзекуция не входит в учебную программу, к тому же, я отношусь к себе с достаточным уважением, чтобы избавить вас от своего присутствия.

Держу пари, из-за обуревавшей его ярости, Ляпкин мало что разобрал из моих слов, а пока я шёл мимо него от парты к двери, пытался подпалить меня взглядом, но так и не посмел остановить.

Через некоторое время, после череды соревнований, мне пришлось вернуться в школу. Ляпкин избегал моего взгляда, я

старался не попадаться ему на глаза, но если вдруг где-то в коридоре заставал его за тем, как он выговаривает кому-то из учеников за провинность, то быстро закруглялся и отправлял бедолагу в класс.

Короткая последняя четверть тянулась утомительно долго. Когда же, в положенный срок, после окончания экзаменов по всем предметам, нарядные и розовые от волнения мы пришли на выпускной вечер, нас ожидал оцепленный учителями и родителями актовый зал и тёплое, выдохшееся шампанское на столах. Взрослые даже не осознавали степень своего участия в крушении наших надежд. Пока девочки танцевали друг с другом в нелепых, чуть ли не свадебных нарядах цвета бело-розового зефира, мальчишки, не стесняясь никого, нарезались напитками, заранее припрятанными в туалете. И никто не смог им в этом помешать…

Было грустно. После танцев, под тем же конвоем учителей, мы прошлись «в никуда», две остановки по трамвайным рельсам, но так как ни одна команда теплохода не готовилась ко встрече с нами, и даже солнце, что с волнением ожидало своего выхода за кулисами горизонта, не брало нас в расчёт, мы разбрелись по домам.

Аттестат об образовании мы получали на следующий день у секретаря. Неумело ставили закорючку напротив своей фамилии, и, не оглядываясь на школу, уходили, рассчитывая больше никогда не слышать в свой адрес незаслуженных грубостей и обидных слов.

Как оказалось, мы были не правы. Впереди нас ожидало не одно лишь светло-розовое будущее. Но …встретить зарю после выпускного, это же не просто вам – поплясать до утра, такое бывало сколько угодно, в каждый новый год. Директор лишил нас первого рассвета новой жизни, и незримого знака, символа, которым наделяют каждого, прошедшего бок о бок десятилетку «от звонка до звонка», на первой утренней заре неведомого никому пути.

День

День замкнулся в себе. Укрывшись за ширмой снегопада, он попеременно то шуршал за нею чем-то, то стучал непонятно по чему. Дабы разоблачить его, требовалось набраться духу и вступить за ограниченный им предел, преодолеть крепостную стену сугроба, перейти вброд пойму снежной реки, а там уж, коли будет на то добрая воля…

Когда мне, наконец, удалось найти путь и одолеть уготованные этим днём преграды, то встретил её. Она стояла, раскинув в сторону руки, точно для объятий, и раскачивалась в томном танце, ведомая ветром. Средние пальцы при этом как бы заламывались, на манер кисточек ушей белки, и было заметно, что ей казалось, будто этим привлекает к себе внимание, хотя в самом деле, глядя на то, делалось смешно или даже немного грустно. Её сарафан, местами протёртый от усердной стирки, был заштопан чёрными нитками, но, несмотря на то, выглядел нарядным. В нерешительности, она простаивала у дороги часами, но, когда казалось, что вот, ещё немного, и уже будет готова идти, её руки опускались. Впрочем, было неясно, – все ли берёзы таковы, либо есть те, которым нравится видеть подле себя одно и то же во все времена года.

Тонкие пальцы её рук, были унизаны перстнями раскалённых, будто бы проволока не печи, красных лап воробьёв, а прямо у ног устроилась синица с кусочком сала. Изогнув хвост, как кошка, она неспешно смаковала лакомство, того и гляди – примёрзнет.

-Ту-ту-тук, ту-ту-тук, ту-ту- тук! – Ритм, что выбивал дятел в вязаной спортивной шапочке неподалёку, перекликался со стуком колёс паровоза, который грузно отдувался за поворотом и грозно упреждал о своём появлении. И вот, когда уж можно было отдать все звуки на откуп одному только дятлу и разыгравшемуся воображению, паровоз явился, словно призрак, медленно очаровывая своей основательностью, статью и округлыми формами. Недаром дети так любят наблюдать за этими, вечно уставшими существами, что и ходят отдуваясь, и шумно дышат если пьют!..

Паровоз давно уж скрылся за следующим грациозным изгибом рельс, а неутомимый дятел, роняя наземь опилки, да осколки льда, всё передавал и передавал лесу азбукой Морзе. Стараясь пробиться сквозь мглу, отправлял: то апостроф, то знак вопроса, то «ч», то «ш», как будто бы знал, что нет таких по-латыни, и так, и эдак – чужие его не поймут.

Лес же, невозмутимо и настойчиво телеграфировал ему в ответ по Шаппу[6], не выходя, впрочем, за рамки трёх букв: D, E и F, а при том, что пни были и вовсе немногословны, – на какой не глянь, – каждый оказывался идеалист[7].

Внезапно, ни с того, не с сего, опрокинувши навзничь ширму, явилось солнце, и, безо всякого видимого труда, раскрасило унылый зимний день своею мягкой кистью. Так, что небо стало вдруг хрупким, бирюзовым, как эмаль на старом блюде, а все округ засияло золотистой, осыпающейся, бесконечной узорной пылью… В единое мгновение сдуло пепел серого дня и с него самого, и с чувств, что вызывали его тоскливые взоры, и с надежд, которыми он растапливал печь своей немоги.

Вечером, когда влажный дуб звучал в печи, будто бы щёлкал семенами подсолнечника, и дом, вдыхая этот, взявшийся ниоткуда маслянистый аромат, принялся греметь пустыми горшками, да сыпать крошками мимо стола, я глядел сквозь трепет остроконечных оранжевых лепестков пламени и улыбался, припоминая крупную гладкую сойку с полной, как у купчихи, шеей, что напугала нынче, стряхнув с ветки, прямо мне на голову, снег.

…Отсрочивая встречу с солнечным днём, ты рискуешь застать, в лучшем случае, только закат.

Расчёт

Это было, не много ни мало, ровно через тридцать лет после окончания Великой Отечественной войны. Чтобы понять, насколько невелик этот срок, достаточно вспомнить о чём-то значительном, произошедшем в жизни. Будет довольно оценить собственное недавнее появление на свет, чтобы приблизиться к пониманию скоротечности времени и краткости величия человеческого бытия.

В пору нашего взросления существовала традиция – напоминать, сколько людей не вернулось домой с войны. Оставшиеся в живых не предъявляли нам счёт, но искренне, глубоко и безыскусно радовались за нас, находящихся в счастливом неведении, что такое война. Единственная малость, о которой просили они, – сохранения памяти о погибших, скромного, на века, уголка в душе, отведённого именно для тех, кто возложил на алтарь Победы свою жизнь и любовь к ней.

Вольно или невольно, но мы задумывались о войне, пытались вообразить, – что бы делали, случись такое теперь, с нами, смогли бы совершить подвиг, или, хотя бы, проснувшись в окопе, по пояс в воде, не запросились бы малодушно к маме под юбку. И это несмотря на то, что почти в каждой семье, бок о бок с нами, жили фронтовики, и мы запросто называли их по имени, либо просто: «дед», «отец», «бабуля» или «мама». Но они-то были родными, близкими, не похожими на героев. В нашем представлении, настоящий герой – широкий в плечах богатырь, он не ест, не пьёт, а только бьётся с неприятелем, расшвыривая его ряды налево и направо, а если попадает в плен, то, когда его ведут на расстрел, он смеётся и плюёт врагам в лицо.

Вот про это про всё мы и рассказали учителю на переменке, когда украшали классную комнату к празднику. Будучи довольно молодым человеком, он выслушал нас с величайшим вниманием, и, как оказалось позже, неспроста.

Через несколько дней, восьмого мая 1975 года к нам в класс вошёл солдатик образца 1945 года. Невысокий, худой, в выгоревшей пилотке и гимнастёрке, с одним-единственным орденом на груди. Он был таким стеснительным, и невзрачным. словно из массовки кинокартины про войну. Ребята сразу обступили его, чтобы попросить разрешения потрогать орден. Солдатик покраснел, засмущался, снял пилотку, утёр ею со лба пот, и дозволил, конечно, – трогайте, мол, да не оторвите. И потянулись десятки мальчишеских рук, гладить запёкшуюся

кровью эмаль награды… И у всех на устах один только вопрос – за что, за какой подвиг удостоили солдата. А тот засмущался пуще прежнего, отвёл острое плечо чуть назад, головой повернул немного кверху, и, пальцем к потолку, вроде бы как пальнул.

– Да, самолёт я сбил из винтовки. Случайно… – Произнёс солдатик и виновато улыбнулся.

Ребята всполошились сразу, что да как, да так не бывает, а солдатик на учителя глянул, и достал из нагрудного кармана карточку какую-то, как после оказалось – документ к ордену, с приказом, где всё и описано, – кем, в каком населённом пункте, да из какого оружия был сбит самолёт.

Оказалось, что это отец нашего учителя. Мы так хорошо поговорили в тот день. Невзрачный с виду солдатик, понятно и просто рассказывал нам о том, как боролись они с усталостью, голодом и страхом, как хоронили товарищей, как удалось не только выжить, но победить в страшной, окончившейся совсем недавно, войне.

После той встречи мы почти перестали волноваться, справимся ли мы сами, в случае чего. Ну – если только совсем немного… И поняли, что люди не рождаются воинами. Они появляются на свет для того, чтобы сохранить мир и сделать чуточку лучше, но, если приходит такая нужда, – защитить его, то они… Они не забывают о себе, вовсе нет! Но на передовую души делает шаг вперёд такое звонкое беззаветное чувство, как любовь к Родине, в которой живут родные по крови и по духу люди. И их надо защищать, всех до единого, как свою семью. Ну, а какие счёты могут быть между близкими людьми?..

Владимир Иванов

Фамилия Иванов
стоит на первом месте
в списке 100 самых распространённых …[8]

Мелкий снег пеплом сыплется на землю. У срока, что сжигает жизни, нет времени, чтобы прибрать за собой.

Собравшись вокруг перевёрнутого кверху ножками табурета, обвязанного алыми ленточками, внутри которого жужжит вентилятор, мы поём про то, как тесно огню в печи, и про поленья, что плачут от того смолой. Слабый ветерок играет тряпочками, и выходит, будто бы мы греемся подле буржуйки или у костра. Как не пытались мы уговорить завхоза поджечь несколько деревяшек в тазу, он не позволил. Сказал, что из-за одного вечера было бы глупо спалить целую школу.

Мы – школьники. В гимнастёрках, примятых у талии широким солдатским ремнём и пилотках, со сцены актового зала выступаем для одноклассников, учителей и особого гостя, артиста Владимира Иванова, который играл роль Олега Кошевого в фильме «Молодая гвардия», по роману Александра Фадеева.

Совсем недавно, на уроке литературы мы буквально по строчкам разбирали это произведение. Описанные в нём герои были такими же, как и мы, – совсем ещё детьми. Со свойственной юности бесстрашием, они, как умели, боролись с фашистскими захватчиками, но убиты были, как взрослые.

Мы много спорили о жестокости, предательстве, даже бессмысленности гибели молодогвардейцев, и вот теперь, перед нами оказался человек, который сумеет ответить нам на все вопросы, – зачем, почему и как. Но… разве он мог?!

Владимир Николаевич не выглядел намного старше своих пятидесяти. Непослушная чёлка зачёсом назад, по фасону сороковых годов, упрямые широкие скулы, решительный взгляд. Но тем не менее, в его облике явственно проглядывали черты погибшего героя, мальчишки с дерзкими, ясными глазами и отчаянной душой.

Артист Иванов много говорил об Олеге Кошевом, но почти ничего не рассказывал про себя. Вспоминал о том, как знакомился с друзьями и близкими молодогвардейцев, колол дрова во дворе его дома, и не мог заставить себя есть из-за того, насколько глубоко переживал трагедию юных подпольщиков.

О судьбе своих ровесников, членов «Молодой гвардии», Владимир Николаевич узнал в 1943-м году, на фронте, куда, конечно же, он вызвался идти сам, добровольцем, и точно так же, как многие, в комиссариате приписал себе к возрасту один лишний год. Служил во фронтовой разведке Ленинградского и 2-го Прибалтийского.

– Трижды ранен, награждён. – Коротко отрапортовал Владимир Николаевич.

– Где? За что? – Загомонили ребята, но наш гость мягко дал понять, что пришёл говорить не о себе, но о мальчишках и девчонках, растерзанных врагами. И его миссия, пока жив, напоминать людям об этом.

Когда Владимир Николаевич узнал, что на каникулах мы собираемся в Краснодон, то загрустил, и заговорил о том, что во многих больших и малых городах, хуторах и посёлках стоят памятники таким же юным героям, которые не смогли прятаться за спинами взрослых… И, хотя больше всего знают про Краснодонцев, помнить надо обо всех.

После этой встречи, на двери актового зала завхоз навесил замок. Через расширенную первоклашками щель были видны сложенные горками дощечки паркета, а в учительской поговаривали, что вскоре там будут делать ремонт. Вероятно, так оно и было, но… После Владимира Иванова, который смотрел на нас глазами Олега Кошевого, больше никого не хотелось бы видеть на той сцене.

Многое стирается из памяти: лица, имена, названия улиц, но по сию пору могу точно указать, куда Владимир Николаевич переставил поданный стул: шаг вправо от центра сцены и два шага от рампы. Место слева от себя он оставил для тех, о ком с такой любовью и болью говорил, а, выдвинувшись вперёд, как бы загораживал их собой, и был так близко от края, за которым… Кому – что, кому забвение, позор, а кому и вечная слава.

Клёст

Чем внимательнее смотрю на мир,
тем всё более поражаюсь его совершенству!

Стук в окошко поздним вечером не встревожил никак. Ну, – мало ли. Может, ветер бросил снежком, либо почудилось. Но поутру, когда я вышел из дому, чтобы поздороваться с солнцем, которое с радостным нетерпением приподнималось из-за стола горизонта, и потягивалось с нарочитым ворчанием, мол, – засиделось, пора и ноги размять… Я чуть было не наступил на птицу, – чуть побольше воробья, и кажется, будто всю в крови. Сомкнутое перекрестье клюва помогло узнать её. Это был клёст. Взяв на руки лёгкое нетленное[9] тельце, я понёс его в известное место, и пока долбил лёд на пригорке, чтобы захоронить птицу, вспомнил нашу первую встречу с её семейством.

Дело было осенью. Сперва я расслышал над головой нечто среднее между «хрю» и визгом, а после, раздалось многократно, весёлое: «Идём! Идём! Идём! Ить!» И с шорохом пересыпаемых из мешка семян, чуть ли не мне под ноги опустилась пара почтенных[10] птиц, в окружении девиц, приспешников и прихлебателей[11].

В самом деле, клестов-сосновиков привлёк не я, а заросли выращенного мной винограда. Я усердно трудился, ухаживая за ним. Некогда хилый кустик возмужал и, опершись на предоставленную для нашего общего удовольствия беседку, щедро, крупными стежками обшил её. Созревшие к концу сентября сизые ягоды были красивы, но совершенно несъедобны. Однако, стоило воткнуть в землю по соседству пару слабых веточек винограда с ещё более невкусными плодами, как, то ли из чувства соперничества, то ли в благодарность за обретение товарищей, гроздья налились столь густым сладким нектаром, что даже той малой толики, которая пробивалась сквозь плотную кожицу, хватало, дабы напоить округу благоуханием и дурманящим ароматом.

Впрочем, всё это великолепие было надёжно спрятано под сенью листьев чудовищных размеров, каждый из которых имел не менее десяти вершков[12] в ширину, и добраться до ягод было не так-то просто. Осень, без какого-либо желания услужить, но скорее по привычке, оборвала их все, открыв к винограду доступ всем, кто пожелает полакомиться.

Прилетали дрозды всех мастей, свиристели, дубоносы и

разного рода дятлы, а в этот день изъявили желание пировать клесты. Скромные домашние халаты дев, цвета пыльного лимона, на фоне ярких, оранжево-красных кафтанов парней, казались до неприличия невзрачными и заношенными. Даже серо-коричневые, маркие, для удобства, одежды отроков да отроковиц, и те гляделись куда более нарядно.

Недолго пировали птицы. Быстро расправившись с большей частью ягод, клесты оставили после себя усеянную фантиками виноградной кожуры тропинку, и улетели домой, на небритую, колючую от сосняка поляну.

…Мёрзлая земля поддавалась с трудом, и хотя я понимал, что никто не позарится на насквозь пропитанную сосновой смолой птицу, мне не хотелось, чтобы кто-то глумился над ней от скуки или из озорства…

Пирожок

Это был какой-то, прямо скажем, несчастливый пирожок. Тесто, из которого он был сделан, долго пролежало на уголке кухонного стола, кисло и куксилось. Хозяйка не сразу вспомнила о нём, а когда в следующий раз пекла пироги, заметила его, но, вместо того чтобы выбросить в помойную лохань, обернула тестом щепоть яблочного повидла и сунула в печку, порешив: «Авось не заметят среди других и съедят». Не желалось ей нести убыток, ну никак. Работники, которых полагалось наделить пирогами, и впрямь не сразу распознали подвох. Затерявшийся среди прочих, этот пирожок был не так румян, как остальные, и, вместо сдобного духа, издавал такой ясный хмельной аромат, что от него заранее пучило живот.

Покивав друг на друга, ибо никому не хотелось получить в свою долю того, что он не положит в рот, работники оставили было этот пирожок на полотенце, но в последнюю минуту, самый старый из мастеровых, махнул рукой, и сказавши: «Нехорошо так с пищей», – сунул его в котомку.

Взять-то он его взял, но вот покушать позабыл, или не захотел мешать с румяными, пахучими да гладкими. Ну и затерялся пирожок в котомке, стал вроде наперсника: куда по какой надобности работник, то он вместе с ним, болтается, завёрнутый в тряпочку, сохнет, пылится мелко.

И вот, перед самым Крещением, жинка мужичка, что по работам ходил, стряхнула котомку с лавки неловко, а ей оттуда пирожок на ногу-то и упади. Да так больно! Очерствелый, он сделался словно камень. Вскрикнула женщина, обозлившись, ухватила с пола пирожок и прямо так, босая – к двери, в сенцы, кинула во двор со злобы, и попала в стайку воробьёв, что на всякий случай щебетали во дворе, напоминая о себе, в чаянии подачки. И тут – пирожок… Дождались!

Воробьи обступили его и, расталкивая друг друга, каждый попытался отломить хотя малую толику, да не вышло. Воробыши могли лишь чирикать[13], но так, чтобы как следует чирикнуть[14] клювом, этого они не умели.

По случаю, мимо пролетал пёстрый дятел. Услыхав[15] суету подле пирожка, он опустился выяснить, из-за чего шум, повертел головой так и эдак, но, не думая особо долго, привычными взмахами продолбил в окаменевшем тесте дупло, ровную,

круглую дырочку. А после, жмурясь от удовольствия, дятел слизывал повидло, закусывая мучными стружками. Ему очень нравилось, что они не пропадают зря, и их можно есть. Тюкая полегоньку, он расширял пустоту, подбирая каждый кусочек, что отлетал от пирожка.

Воробьи с беспокойством наблюдали за тем, как то, что показалось им негодной ни на что безделицей, крошка за крошкой исчезает у них на глазах. Впрочем, дятел был один, и скоро оказался сыт. После того, как он улетел, воробьи, а чуть позже и синицы, продолжили начатое трудолюбивой птицей. И такой воцарился переполох, такая сумятица! Синицы по-цыгански трясли плечами перед воробьями, сгоняя их с пирожка, а брат брата, воробей воробья отпихивал ножкой так, чтобы другие не увидали, – совестно толкаться, не делиться стыдно, а голод не тётка[16].

Впрочем, как не много было желающих откусить от пирожка, его всё никак не убавлялось. Едят его, клюют, крошат, а он вроде бы, как не делается меньше, – знай, щёки дует, да выпускает всё новые доли повидла.

Слух о чудесном пирожке разнёсся на всю округу. Даже большой зелёный дятел прилетал посмотреть на него. Приобняв за шею сосну, дабы не ронять себя, обнаруживая на миру любопытство, он хорошенько разглядел диковинку, и порешил возвернуться к ней, как покрепче сожмёт её в кулаке мороза. Тогда уж, – рассудил дятел, окромя него самого, никому не дано будет отведать сего замечательного кушанья. Но тут, откуда ни возьмись, не смущаясь никого и нисколько, не ястребом и не тихой сапой, к пирожку подступилась соя. Малая тётка[17] по отцу ворону, сестренница[18] воробью по матери, важная, сиятельная[19] лесная птица сойка, союшка, что носит с собою зеркальце[20], чтобы было куда посмотреть небу, коли будет в том нужда. Сойка не стала терзать пирожок на людях. Недолго думая, ухватила его половчее, и унесла. Вот и всё.

Один страшится, другой берёт и делает. Первому крошки, а второму – весь пирожок!

За одну жизнь

Рассвет. В холодных ладонях леса зреет золотое тёплое зёрнышко солнца, и многое, что скрадывает мгла, становится явным, внятным, заметным. К примеру то, что под собранным горстью черепашьим панцирем кленового листа, посечённом иглами льда, притулился маленький шарик, – чей-то уютный дом. То орехотворка[21], спуталась или поленилась, не долетела до дуба, заложила новую жизнь под залог своей там, где показалось ближе. И прогадала. Дуб-то не отпускает от себя листву запросто, не роняет подолгу, ни осенней стужей, не зимним дождём, а клён – повеса и ветреник, кинул, прямо под ноги тому, кто первым пройдёт, а обойдёт или придавит, – тут уж не угадать.

Вьётся ручейком по лесу оленья лыжня. Всего в двух прыжках косули от неё – утоптанная кабаньим семейством, за одну только ночь, дорога с юга на север. Тянутся к дубу, кто за красотой, кто за мудростью, кто за силой. Есть в нём стержень[22], да сокрыт глубоко. У заснеженного дуба длинная рябая шейка, как у дрозда или рябчика, только не такая пышная, сытая, как у них.

Взвалив на спину кусочек солнца, летит пёстрый дятел. Сосны, ели, лиственницы, туи просвечиваются до стволов. Пасмурный рассвет не дал бы разглядеть, что там, в ветвях, не комья заледенелого снега, а разноцветные пушистые шары воробьёв, синиц, лазоревок, снегирей… Сидят тихо, не тратят сил в мороз на чрезмерную опасливость.

– Дык- дык- дык…Тыхь… – Раздаётся вдруг холостое потрескивание мотора, что не заводится на холоде никак. «Откуда бы ему быть тут?» – Думаю я, выглядывая в окно, и вижу сойку, что похоже тарахтит, надрываясь шутейно, дразнится, сверкая голубоглазо, да насмешливо хохочет мне в ответ. Так… по-человечьи.

Тут же и воробьи, – чешутся, по-собачьи, взбивают пуховые жилеты, которые носят, не снимая, с осени и до самой весны, а синица, вгрызается волчонком в приросшее к свиной шкурке сало, вырывает клочки, и проглатывая их, озирается на мир, что вынуждает не быть, но казаться грубее, чем ты есть на самом деле.

В янтарных прядях солнечного дня заметно, как заурядный деревенский деревянный заборчик, за одну лишь метель превращается в балюстраду, украшенную мраморными шарами, а

поляны, с застывшими морскими волнами трав со снежною солёною пеной, – в мелководье, до которого тысяча вёрст. Но во что превращаемся мы? Всего за одну жизнь…

Мороз

Прозрачный, будто отлитый из хрусталя, лес сиял многочисленными гранями на белой, лилейной скатерти снега, и звенел едва слышно. То шалил ветер, проводя влажным пальчиком по его краю. Прислушиваясь к не имеющему пределов гудению, он клонил голову и глядел в никуда, стараясь понять, как, толкаясь друг об дружку, рождаются звуки, и улыбался, представляя, что делается им от того весело, тепло. Рассуждая в себе про брызги полутонов, которые распространяют они подле, ибо без оных никак нельзя, верил, – касаются даже лишённых понять мелодию, и тревожат их. Так матери будят поутру выстраданных душой детей, касаясь лица улыбкой или одним лишь намерением взглянуть.

Мороз разогнал всех по гнёздам, в тепло и тишину глубины дупла. Откуда почти неслышны приглушённые, осипшие голоса шагов, не видно седого пара выдоха, и голубых, в цвет неба, бесконечных теней. Большой зелёный дятел, выбравшись с верхнего этажа сосны, кинулся в полёт, как в ому или Крещенскую купель, – трижды с головой, и, ухая от собственной удали, возвернулся, не оглядевшись даже начерно. А удивиться было чему: снег, срывая последние листы с дубов тяжёлой рукой, сыпал им, как пеплом, на голову пёстрого дятла, отважно метущего клювом тропинку. И один лишь луч солнца птицей парил над лесом, не опасаясь ничего. Мороз, как не старался, так и не научился справляться с ним.

Мир, в котором есть метель

Он был до такой меры сутул, что волосы коротко стриженного затылка царапали спину. Несмотря на то, что шеи не было заметно вовсе, это не портило его, но напротив, придавало облику некую солидную плавность и законченность. Присаживаясь, он по-стариковски приподнимал полы одежд, и осматривался, чтобы ненароком не замарать подол. Из опрятности или нежелания утруждать себя лишними хлопотами, тут уж, – кому что приятнее воображать.

Как оказалось, он частенько гостил у нас, но лишь по какому-то недоразумению был представлен только теперь. Молодёжь, при виде его, конечно же сразу врассыпную, за портьеру, и ну, давай подглядывать за ним оттуда: в чью сторону обернулся, да покачал ли после головой, а, коли кивнул, то так или эдак. Но уж пока все вальсы не отыграют, – и гость сидит, и юношество носу не кажет, -или опасаются, либо стесняются осрамиться при нём.

Несколько понаблюдав за тем, метель растирала, по ходу времени, хлопья снега в муку. Явно испытывая неприязнь к ястребу, что кукольным пустым глазом с хорошо различимой хитринкой осматривался вокруг, она жалела синиц, которые из самых недр сосны с горечью следили, как скрывается под снегом чаша, случившаяся в месте единения трёх дубов, и служила им кормушкой. Ещё немного снега, еду будет не отыскать, а ночью, как обычно зимой, обещали мороз.

Не стерпела метель, уронила работу[23] наземь, да сдунула ястреба прочь, согнала:

– Лети ж ты отсюда уже, окаянный! Вижу ведь, что сыт!

Едва опасность миновала, не тратясь на капризы[24], синицы тут же принялись за обед, а метель подобрала с земли снег и продолжила перетирать его, довольная тем, что синицы успеют теперь и покушать, и в дупло унести, спрятать впрок.

Подыгрывая себе барабанными палочками обломанных стволов, негромко пел ветер. Деревья тёрлись друг об дружку, скрипя шестерёнками. Казалось, будто бы где-то неподалёку возится дед, привычно заводит крепкими сухими пальцами старый будильник перед сном, чтобы зачем-то проснуться поутру.

За всем этим можно было наблюдать до бесконечности, вот просто – стоять и любоваться, не мешая никому.

Косуля, издали подглядев за моим настроением, принялась

обходить, – медленно и осторожно, чтобы не потревожить, не спугнуть минуты. Было заметно, что ей из-за того непросто ступать, по высокому-то снегу. Хрупкие веточки ног погружались всё глубже, сугробы жадно охватывали тонкие запястья и неохотно отпускали их. Облик косули – лесу подстать. Со стороны могло показаться, словно куст выбрался из земли и ползёт куда-то, пока не заметил никто.

Так очевиден и столь мил был порыв маленькой козочки – не оказаться помехой, что я не сдержался:

– Да ты моя маленькая!.. Маленькая козочка. Хотя… Как же я не заметил! Судя по рожкам, ты – мальчик.

Поглядывая на меня, прислушиваясь к знакомому запаху, он спокойно перешёл тропинку, опередив всего на каких-то два шага, и, улыбнувшись в мою сторону, словно проговорил: «Ну, ведь правда же, красиво у нас здесь?!»

– И не говори! – Согласился я вслух.

Пока мы стояли поодаль друг от друга, снег сперва заполнил следы лисицы, которая проходила тут ночью, потом вчерашние оленя, после взялся за наши, так что довольно скоро не стало заметно даже их. Но это было совершенно неважно, как и то, любое расстояние промеж нами, оно не означало ровным счётом ничего. Мы одинаково думали. Об одном и том же. О мире, в котором есть метель.

Запретный плод

Тема урока, которая явно не интересовала одноклассников, лично меня радовала простотой и элегантностью ещё в средней группе детского сада. Речь шла о строении атома, напоминавшем систему планет. Казалось, что на поверхности одной из них обитают маленькие человечки. Они лепят крошечные куличики в миниатюрных песочницах, а когда вырастают, непременно идут в школу, и так же ленятся, подсчитывая, сколько ворон прилетело на ветку за окном, чтобы поглазеть на не ведающих своего счастья школьников, а сколько убыло. Ну, хоть какая-то польза от арифметики!

Пока мои товарищи активно сопротивлялись движению отрицательно заряженных частиц относительно положительного во всех отношениях ядра, я, устроив на коленях под партой книгу, исподтишка читал. Точнее – пытался. Накануне матерью был выкуплен очередной, двадцать четвёртый том Большой Советской Энциклопедии, и мне не терпелось просмотреть его, открывая наугад, от собак до струн[25]. Фолиант весил килограмма полтора, не меньше, и с трудом втиснулся в набитый учебниками портфель, но жажда быть первым, кому распахнёт он свои бледные, со сладким ароматом типографской краски страницы, была куда сильнее трудностей, сопутствующих этой затее. В то время я сравнил бы себя с голодным птенцом, в открытый рот которого что ни сунь, – проглотит, не задумываясь. Одну за другой я поглощал отпечатанные мелким шрифтом статьи, с первого раза запоминая наизусть, но не чувствуя вкуса, не насыщаясь, не… не… не… Многая отрицания, витая в пространстве моей пустой головы, упруго сторонились друг с друга, от чего я розовел и неприлично, словно после урока физкультуры, потел.

Заметив моё пыхтение и неподобающую моменту возню, учитель прочистил горло, проверив настрой голосовых связок, и играя ими, как на широких струнах контрабаса, грозно завопил:

– Это что это там у нас под партой?! Это ты у нас самый умный, что ли?! Вста-ать!

Совершенно понятно, что с тяжёлой книгой на коленях я не мог подняться так скоро, как это требовалось. К тому же, был риск повредить тонкие листы раскрытого тома, и мне ничего не оставалось, как, несмотря на изменения высоты тона, силы звучания и отсутствие пауз в речи разъярённого педагога, оставаться сидеть на своём месте.

Голос учителя, будто ватой, заполнил мои припухшие от смущения уши, но яростное «Во-он!» было-таки расслышано с облегчением, и радостью.

Немедленно разогнув колени, я позволил тому энциклопедии съехать по ногам к полу, на удивление легко сунул его в портфель, и, даже не пытаясь смотреть в сторону кафедры у доски, вышел из класса.

Когда кровь перестала пульсировать в висках и щёки приобрели почти нормальный цвет, я, наконец, смог осмотреться и обнаружил, что в коридоре нахожусь не один. Кое-где, у дверей класса тоже стояли ученики, и они явно скучали. Ковыряя пальцем стену, заглядывая в замочную скважину или приставляя к ней ухо, – каждый, как умел, томился бесцельно, словно отправленный матерью в угол, сообразно приобретённой за годы детства привычке. Я же чувствовал себя освобождённым из плена, и, водрузив на подоконник энциклопедию, продолжил поглощать запретный плод[26] знаний, не отвлекаясь на то, что происходило вокруг.

Я даже не заметил, когда в коридор вошла тётя Паша, наша уборщица. Насильно громыхнув ручкой о ведро с горячей водой и подбоченясь, она воскликнула:

– Да что же за день-то такой!

Промежду строк, как сквозь сон, до меня едва доносилось её ворчание:

– Ну-ка ноги! Марш на подоконник! И не спускайся, пока не просохнет! – Командовала она каждому, но лишь подойдя к тому окошку, подле которого стоял я, она молча провезла швабру мимо, цыкнув остальным, – Видите, человек делом занят, а вы… Двоечники!

Вот эта, сказанная мимоходом школьной уборщицей, фраза, крепко засела у меня в голове. Именно благодаря ей, я понял, что иду верным путём, и главная задача теперь, не растерять то, о чём прочёл, но найти способ употребить[27] его. Чтобы не пылилось просто так, как раз и навсегда прочитанная книга на полке в шкафу. Оно ведь – всё для чего-то нужно, только бы разобраться, что и для чего.

Кот

Я надоедал попутчикам рассказами о том, какая у меня замечательная собака, и не знал, что уже несколько часов, как её нет на этом свете. Колёса поезда вальсировали всё быстрее, и, словно следом, пытаясь угнаться за мной, на полу у печки бежала в последний раз по полю беспамятства моя собака.

Возвратившись из командировки, прямо на перроне, сам не зная почему, я спросил у встречающих:

– Как она?

Меня поняли, даже не уточнив, кем интересуюсь, и…. я встретился-таки с тем, страшным, о чём боялся даже думать последние три года:

– Умерла.

– Нет! – Запротестовал я, и уже сквозь рыдания едва расслышал, что «всё к тому шло».

За последний год у собаки дважды отказывали задние лапы, но я категорически не соглашался считаться с её немощью. Из одной лишь любви, она каждый раз приходила в себя, поднималась, и снова шла за мной, куда бы я её не позвал. Иногда, обращаясь ко мне взглядом, она интересовалась: «Зачем я тебе, такая?!», после чего просила разрешения уйти. Я неизменно отказывал ей в этом, а для убедительности мотал головой, да решительно и громко произносил: «Нет». Собака покорно вздыхала, и, не смея ослушаться, продолжала жить. И вот, ловко воспользовавшись мои отъездом, она поспешила сделать то, о чём так долго просила.

– Как… Как она могла?!!! Я же не позволил!!!

– Но тут …ещё одно, – Едва разобрал я из пучин своего горя.

– Что? Что ещё?!

– Кот…

– А что с котом?

– Он тоже…

– Что?!!!

– Он умирает…

Я не понимал, как может происходить такое с котом, который в пять раз моложе собаки.

– Объясните толком. – Попросил я.

– Сейчас сам всё увидишь.

Когда мы вошли в дом, первое, что бросилось в глаза – распластанное на кровати серое тело.

– Эй, кот… – Тихо позвал его я.

Услышав мой голос, он пошевелился, дёрнулся, попытался ползти навстречу, и рухнул на пол.

Почти невесомого, я подхватил его на руки, прижал к себе и почувствовал, как оглушительно работает крошечное сердце, стараясь достучаться до меня, разбудить сострадание, жалость.

– Да что ж это, бедный… Что случилось? – Спросил я у домашних, и они поведали мне о том, как, едва собака ступила за ворота своего собачьего рая, как кот завалился вдруг на бок. Его голова обвисла, и он как бы забыл – как это, ходить.

– Всё произошло как-то сразу. – Уверяли меня. – В один миг. И ещё… он не может глотать, разучился.

Сжимая в руках то, что осталось от некогда весёлого, почти круглого кота, – горсть хрупких косточек, обёрнутых гладкой кожей, я лихорадочно соображал, что можно предпринять. И, пока набирал в шприц лекарство, поил, баюкал и обтирал после приступов тошноты, думал о том, что от горя умирают не только люди, а вот, гляди-ка ж ты, коты тоже умеют делать это.

До этого времени, я совершенно не мог предположить, что кот и собака дружны. Не задумывался об этом, не замечал. Мне казалось, они живут рядом, как посторонние. Обстоятельства вынудили делить кров и любовь к одному человеку, но, по отношению друг к другу, это не обязывало их ни к чему. Так казалось. Но теперь, глядя на то, как страдает кот, я начинал припоминать такие моменты, которым раньше не придавал значения.

Услыхав нечто неожиданно громкое и пугающее, кот приходил посидеть рядом с собакой, её присутствие умиротворяло его, а в поездках кот был спокоен, только если, выпростав из-за пазухи голову, видел идущую рядом собаку. Целыми ночами, кот лежал на диванчике напротив, и неотрывно глядел на неё. Не знаю, о чём были их молчаливые разговоры, не смею мечтать, что обо мне, хотя, кто знает.

Три месяца понадобилось на то, чтобы вновь научить кота сидеть, ходить, глотать, и если бы я ещё искал пояснение к такому чувству, как любовь, то теперь у меня наверняка бы был ответ.

Оттепель

Оттепель. Крыльцо, покрытое скользкой эмалью льда, сдерживает не то, что шаг, но само намерение выйти. Пользуясь уцелевшими островками сугробов, переступая по ним, словно по болотным кочкам, бреду, оставляя глубокие, набирающие воду отпечатки. Следы тех, кто был тут накануне, уже доверху полны талого, не утерявшего ещё память о прошлом, снега.

В лесу пахнет, словно от свеже-отмытой дубовой бочки, засыпанной до краёв гроздьями палевого[28] винограда. Когда идёшь, кажется, будто бы давишь из него весёлый сок, оставляя после себя лишь много мелких веточек и плотный слой кожицы. Кому черёд, невдомёк, каково это, венчать усилия сладостью преодоления, или обретать решимость справиться с напором противления собственной слабости. Расположившись томно, она всегда подле, не миновать. Перехватывает взгляд, порыв, упреждает тщетностью мечты… как оттепель, что лишает льды строгости и порядка.

Чернеет и покрывается испариной тропинка. Голоногие, враз осунувшиеся воробьи бродят по колено в липкой, остывшей каше льда. С одного краю, стараясь не измарать нарядный аксамитовый[29] жилет, смакует подтаявшее сало синица, с другого – дятел в чёрном плаще с неловко завернувшейся алой подкладкой, отрывает и заглатывает большие его куски. Воробей, одетый, по обыкновению в куцую кацавейку, сперва не решается присоединиться к трапезе, а после, махнув крылом, – была не была! – в два прыжка преодолевает смятение и возможное недовольство, да принимается отщипывать понемножку из середины. Некоторое время троица самозабвенно угощается, и, кажется даже, что промеж ними возникает некое единение. Одобрительно переглядываясь, они подбадривают друг дружку, а когда дятел, не рассчитав сил, закашливается чересчур крупным лоскутом кожи, синица и воробей перестают есть, но, только убедившись, что сотоварищ готов продолжить, сызнова принимаются пировать.

Рыжая тень солнца на снегу покрыта приметами ночных хлопот лисицы, того же яркого цвета, оспинами капели, – жизни, что бежит в испуге, стоит лишь намекнуть, – понял, из чего она, из-за чего и зачем.

Мороз не щиплет за щёку больше, и от того немного грустно. Он, в общем, незлой старик, да и не так, чтобы очень уж стар. Если бывает строг, то для одного лишь порядка, а не с досады.

Оттепель. Январь принимает её с покорной мудростью. Он знает свои права, и готов уступить немного, чтобы после сделать всё, как полагается зимней порой, и на троне из снега, сжимая в руке скипетр солнца, вновь воцарит мороз.

Усач

Дрова в печи плевались, – то словами, то так. Время от времени они даже принимались драться, ну и вообще, вели себя крайне неподобающе. Особенно, если учесть тот факт, что вскоре, кроме пары-тройки углей, да горсти золы, от них не должно было остаться ничего. Их свару не могли удержать в рамках пристойности ни печные заслонки, ни чугунная кованая дверца. Вовлечённая в то печь возмущалась, гудела, и, распаляясь в ответ розни напоследок, едва заметно расшатывала не только дом, но и саму землю, из которой он рос, словно гриб…

– Мама, мама пришла! – Примерно так он приветствовал моё появление в кухне каждое утро.

– Какая я тебе мама? – Нарочито притворно возмущался я. – Скорее уж папа!

Мы постелили ему у печи, но обыкновенно он сидел на подоконнике, равнодушно поглядывал на птиц в снегу за пыльным стеклом, никогда не просил отпустить его погулять во дворе, а находил себе занятие дома. Чаще всего я заставал его у цветочных горшков. Он возился с цветами неумело, но осторожно, так что не было от того ни проку, не ущербу. Тешил сам себя в тиши, да и ладно.

Он оказался у нас случайно, прибыл с первой в зиму вязанкой сосновых дров. Кот выследил его, тронув аккуратно за плечо, и спросил вкрадчиво:

– Товарищ! А вы к нам зачем?

И тем так испугал жука, что с последним приключился припадок. Кот кинулся кричать, призывая подмогу, тут же сбежался народ… Вскоре после того, как непрошеный гость был приведён в чувство, задумались, что с ним делать. На улице мороз, не прогонишь. Ну и оставили у себя жить, до весны.

Усач[30], а это был именно он, оказался приятным, тихим соседом. Общество любил, но своё не навязывал. Стоило переступить порог кухни поутру, как тут же слетал с оконной рамы на стол и вежливо, сочувственно внимал любой, по делу и бестолку, болтовне. Жук, что странно, вполне очевидно боялся высоты, и был совершенно непривередлив в еде. В отсутствие кота, с удовольствием угощался из его миски, и не брезговал тем,

что, по простоте душевной, предлагал ему я.

Прежде, чем приступить к трапезе, усач деликатно пританцовывал, приседал неглубоко, как это делают барышни, потирал ручки, отряхивая их, и принимался вкушать. Он с одинаковым наслаждением обгрызал застывшие капли морковного сока и плёнки бульона из куриных потрохов. Причем, даже если был сыт, оставлял после себя совершенно чистую тарелку. Видимо полагал, что не дело это, обижать хозяев заботой, куда девать объедки.

Ночами жук дремал, прислушиваясь к прощальному пению бересты, что раздавалось в печи. Сквозь шумную брань поленьев, оно была едва различимо, но достоинством, с которым таял в огне верхний, светлый слой берёзовой коры, манкировать было немыслимо.

Преисполненный благодарности за возможность дожидаться наступления своего последнего, единственного лета не в забытьи, между холодными простынями лыка, но у тёплой печи, в здравом уме и твёрдой памяти, жук пестовал уважение к окружающим, вкупе с осознанием собственной значимости.

Ну, оно и понятно, что ещё остаётся? Кто ж его будет уважать, коли не сам. Жук он, насекомое, и больше ничего…

Никогда

Причудливы снежинки, что вырезают из тонкой, многократно свёрнутой временем бумаги прошлого. Ржавые, тугие ножницы памяти… Двигаешь ими, закусив губу, и, кажется, – вот-вот, ещё немного, и откроется всё самое-самое, о чём невозможно, немыслимо было бы забыть. Обрываясь на особенных, важных моментах, что-то теряется навечно, но грубому, неказистому, неуместному, – тому удаётся удержаться, зацепившись за край воронки бытия.

«Уборная» … Таким уютным, приличным словом бабушка называла тесную туалетную комнату с небольшим окошком под потолком. Заглянуть через неё не удавалось, даже если встать ногами на белые фаянсовые плечи напольной срамной[31] раковины[32]. Жильцы старались проскользнуть туда незамеченными, часто пользуясь отсутствием или занятостью домочадцев. Прежде, чем покинуть неприличную комнату, прислушивались, нет ли рядом кого, и выходили, окутанные вкусным запахом горелых спичек. Тем не менее, кому-то одному было поручено следить, чтобы на гвоздике в туалете не иссякала пачка нарезанных ровных прямоугольников. Ведь это оказалось бы вовсе уж стыдно, – зайти, и обнаружить голый гвоздь, торчащий из блестящей от толстого слоя масляной краски стены.

В душном шкафу, устроенном в нише коридора напротив, помимо мешков муки и соли, имелась манящая к себе полочка. На ней, среди многих прочих банок, тарелок и посудин, стояла одна, через бесстыжие прозрачные бока которой, как сквозь капроновую комбинацию, проглядывали аппетитные округлые формы сахарной помадки и «морских камешков».

Едва заслышав скрип отворяющихся дверей шкапа, мы летели со всех ног, дабы поприсутствовать, проверить его недра в который раз. И, переводя взор с бабушки на банку, путая заискивание и обожание, молча ожидали, пока, словно сам собой, откроется крышка, и будет предложено: «На-ка, возьми себе, что-нибудь!» Впрочем, так бывало не каждый раз, ведь мы могли провиниться, ослушаться или просто – переесть за обедом.

«Когда я ем, я….»[33] – строго напоминали нам за столом, хотя, об этом можно было бы и не просить. Бабушка готовила вкусно, – какие там разговоры, – знай, подставляй тарелку. Зато, не занятые ничем уши, ловили каждое слово.

Взрослых, как видимо, не касалось это правило, про молчание во время обеда, посему, мы становились невольными свидетелями разговоров о войне.

Как жаль, что я там был, слышал, слушал, но почти ничего не смог запомнить! Из того, что задержалось в моей дырявой памяти, – упоминание про некоего замечательного ординарца, который служил под началом деда, и приезжал к нему после Победы. Про то, что «пайку офицерскую от солдат не прятал, а делился с ними, ели вместе, из одного котла»; как после ранения никак не мог заснуть в кровати, – кинул на пол шинель, и тогда уж выспался, за все годы. Да однажды, разделся в какой-то хате, вышел во двор к колодцу, помыться, а дом накрыло снарядом, и вместе с вещами, документами, орденами на гимнастёрке сгорело представление к польскому "Кресту Грюнвальда", – «как части, первой вошедшей в Померанию». Вот, пожалуй, и всё. Мало? Может и так, но малому – достаточно[34]

Во что мы тогда играли? В войну. А рисовали что? Да всё её, проклятую. Танки, взрывы, пушки, наполовину залитые талым снегом воронки от снарядов, солдат в пилотках, и везде, где только можно, пририсовывали звёздочку. Даже если в руках был один лишь серый «простой» карандаш, после звезду непременно и обязательно раскрашивали в красный цвет. Но если вдруг замечали, что у кого-то не так, щурились подозрительно, а после требовали:

– А звёздочку?!!

Да следили при этом, чтобы были правильные, одинаковые края, и гордились, коли умели одним движением вывести такую, как на Кремлёвских Курантах, – ровную, сияющую, победную.

Вспомнилось ещё, как любили мы разбивать камешком ленту пистонов, сидя прямо так, на тёплом асфальте. Пистолеты были у всех, но вот, – чтобы рукой, кто скорее, да у кого больше сизое облачко пороху… Ну и тут уж – никак не устоять, – сразу ползком, в грязь, пузом по песку, как деды, скрываясь за бруствером песочниц и дощатым штакетником, который берёг от нас, пострелят, бабушкины пионы с маками.

– Пух! Пух! Бах! Тра-та-та-та! Ура-а-а!

Где нас отмывали после?! В корыте, посреди кухни. Ванны не было ни у кого. Бабушка грела воду на плите, и, поливая, приговаривала:

– Трись, трись-ка хорошенько, не размазывай.

А после, завернув в простынку, отправляла сушится на сундук. Не на тот, что в прихожей, у пузатого крошечного холодильника с косым запором, а на другой, который стоял в спальне деда. Здесь можно было втихаря заглянуть в ящички дедовой конторки, порыться в его записях, сделанных каллиграфическим почерком с едва видимым наклоном вправо, пошевелить деревянной птичкой, что добывала папиросы из шкатулки, и довершая удовольствие, подуть через янтарный мундштук…

– Эт-то ещё что такое?! – Возмущался беспорядку дед. – Разве это твои вещи?!

От стыда и неожиданности впору были идти купаться вновь, но корыто уже висело на своём крючке под потолком, а бабушка раскатывала тесто.

Снежинки из пергамента памяти всё мельче и мельче… Но отчего-то, всё чаще я вспоминаю, как с горящими от восхищения глазами просил деда рассказать, «хоть что-нибудь» о войне. Чего я ждал от него? Воспоминаний о подвигах? Наверное. Он же каждый раз находил повод перевести разговор на что-нибудь другое, или обещал, что распишет всё в мельчайших подробностях когда-нибудь, потом. А я всё ждал, ждал, надеялся, но так и не дождался.

В самом деле, разговоры про войну – недетское дело. Только сейчас, кажется, начинаю понимать и это, и почему дед не рассказывал мне, как там было на фронте. Но твёрдо знаю теперь, что «потом» – почти всегда означает «никогда».

Воробей

Птицы вновь что-то не поделили. Синица шипела на воробья, широко открыв рот, словно старалась уколоть его своим острым язычком. И когда тот не стерпел и ответил, толкнув внезапно, словно тряхнул её за грудки, упала навзничь. Несмотря на то, что воробей вышел победителем, такой исход дела лишил его аппетита. Этот порыв был так случаен, необычен для него. Воробей, по большей части был миролюбив, предпочитал иметь добрых соседей, и не участвовал в стычках, которые обыкновенно происходили подле кормушки. Ему постоянно приходилось заступаться за одних перед другими, не разделяя, – воробей это, лазоревка, дятел, или синица. Разнимая драчунов, усовещивая спорщиков, он не принимал ничью сторону, но просто-напросто старался разбудить сострадание друг к другу. И если некто кричал «А он первым начал!», неизменно отвечал:

– Так ты умнее, уступи!

– Но он прилетел после!

– Значит ты не так голоден, как тот, кто только что проведал про это место.

И было совершенно неважно, – кто стоял перед ним, визави терялся, и, даже если не сразу находил резон в упрёках по своему адресу, то почти всегда соглашался. Признавать неправоту – нелёгкое дело, даётся не всем.

***

Некая семейная пара, уже вовсе порешив разойтись, который вечер ссорилась, мотая нервы домочадцам и друг другу. А когда, почти уже бывший супруг, хлопнув дверью, ушёл с ночёвкой в гараж, жена отвела в ветлечебницу любимую собаку мужа, где её и усыпили в тот же вечер.

Мыслимо ли было поступить так с преданной, доверчивой, как дитя собакой? Укажешь ей, к примеру, на человека или кого-либо другого, скажешь: «Он плохой, обижает меня, давай-ка, возьми, укуси его, тебе за это ничего не будет.» И идёт, и кусает, не думая о себе, но с одним лишь желанием выказать, – как любит беззаветно…

Эх вы… люди?!

Неужели не нашлось рядом ни одного …воробья?..

Сколько до осени дней…

Среди ночи раздался телефонный звонок. Поднимаю трубку и тут же едва не роняю от крика, что извергается неровными порциями из её недр.

– Говорите потише. – Прошу я. – Вас невозможно понять.

– Это ты! Ты! Всё из-за тебя!

– Кто вы? Что случилось?

– Киоск! Они приехали и сожгли!

– Киоск? Кто сжёг? Почему из-за меня? Я там с осени не работаю!

– Дружки твои!!!

– Ыть-ыть-ыть… – Крик оборвался, предоставив телефонной линии возможность продолжить монолог на понятном ей одной наречии, а я пошла досыпать.

***

Роддом. Юный интерн, отсрочивая неизбежное, нервно щиплет пушок на своих персиковых щеках. Получив задание провести опрос, он долго вытирает ноги о несуществующий коврик у двери палаты, робко стучится и, только расслышав: «Да заходите уже, что вы там топчетесь!», переступает низкий порог. Сменив цвет щёк на более яркий, покрывается испариной, семенит к ближней кровати и задаёт свой вопрос:

– Девушка! Ответьте, пожалуйста, на что именно у вас был токсикоз[35]?

Польщённая подзабытым в стенах клиники обращением, будущая мамаша хохочет до дрожи в отёкших скулах и, шмыгая раздутым до размера спелой сливы носом, поудобнее укладывается рядом с тугим шаром собственного живота:

– О чём ты, милый?! Про то, из-за чего меня выворачивало наизнанку? Так при взгляде на мужа! Вишь, до чего меня довёл, супостат!

Новоиспечённый доктор был готов провалиться на том самом месте, с которого задал свой вопрос, а женщины, радуясь возможности отвлечься от предстоящих страхов, наперебой кокетничают, засмущав парня до мокрых подмышек. Но вскоре, растрогавшись, жалеют его и ласково, почти совсем уже по-матерински, успокаивают, угощают, – кто яблочком, кто конфеткой, а, дабы помочь молоденькому парнишке, пытаются

припомнить, как и что было поначалу. Принимаются рассказывать, – только успевай записывать! – удивляются переменам, которые произошли в их теле, как бы самостоятельно, без их в том участия.

На свете всё на всё похоже, мало чем отличаются одна от другой и причуды дам в интересном положении. Кому-то желалось погрызть мел, кому-то нафталин, иной делалось дурно при взгляде на свекровь, а мне же, стыдно сказать, начинало тошнить при виде рекламы некой фирмы, название которой означало не что иное, как «причину, оправдание, разумный повод»[36]. То ли двигатель торговли[37] барахлил, то ли коричневые цвета рекламы вызывали ощущения, противные тем, что возникают при виде шоколада[38], но приступы дурноты давали о себе знать исключительно в те мгновения, когда вышеупомянутая контора напоминала о себе любым, доступным ей способом. И пока, недоверчиво поглядывая на меня, интерн мусолил кончик ручки во рту, пытаясь обосновать столь необычные причины токсикоза, жирным пятном на поверхности прозрачного бульона памяти, неожиданно всплыло…

Это было в конце весны 1991 года. Бассейн, в котором мы работали, распустил служащих по домам. Пришлось придумывать, чем перебиться до осени. Тяжёлого физического труда я не страшилась, но, по причине свежепорванной косой мышцы живота, его необходимо было избегать некоторое время, а посему, пришлось сменить амплуа и поработать в торговле. Для меня это дело было новым, а потому интересным.

Древний киоск, внешне похожий чуть ли не на скворечник в центре трамвайного кольца окраины города, внутри оказался поистине крошечным. Локти представляли угрозу выставленным в его витрине яствам, а спина упиралась в дверь, ключа от которой мне не выдали. Таким манером, лавочник, владелец хором, гордо именовавший себя хозяином, старался обезопасить товар от посягательств как снаружи, так и извне.

При знакомстве, на вопрос, хозяином чего он себя возомнил, высокий молодой человек невнятной наружности глянул на меня, как на диковинную рыбу, и промямлил нечто невразумительное про вложенные в товар деньги.

– Ну, да, конечно… – Неопределённо покивала я, но согласилась называть его исключительно по имени.

Ровно в восемь утра меня допускали к рабочему месту, и через шестнадцать часов, после подсчёта товара и выручки, я

выныривала на поверхность, как и положено, совершенно мокрой.

Несмотря на то, что точек, подобных этой, поблизости было довольно много, народ ломился именно ко мне. За шутками и стопроцентно верно выданной сдачей.

– Она не обманывает! Можешь не пересчитывать! – Гордо говорили друг другу работяги, которые относились ко мне, как ко внезапно обретённому сокровищу. Зарплату в те времена выдавали одной бумажкой на двоих, а разменять недавно отпечатанные пятитысячные купюры, кроме как в киоске, было негде. Я соглашалась помочь и без покупки, но на такое решались нечасто. Устоять против надписи, которую я соорудила в минуту вдохновения, было немыслимо:

"Клуб любителей водки. Кто кого? Она нас или мы её?!"

Кажется… нет, я почти уверена, что это была первая подобная реклама в городе. Как любая, она неприкрыто, бесстыдно поощряла человеческие пороки, и за эту свою честность пользовалась сумасшедшим успехом.

Пока продавцы соседних киосков маялись от безделья, подле моего стояла длинная весёлая очередь. Каждый, кто подходил, считал своим долгом уверить, что «мы её победим, а не наоборот», и убеждённость, с которой говорились эти слова, радовали не так, как этого можно было бы ожидать от, пусть временного, но работника прилавка.

Как только сорокаградустный родник иссякал, часовщик и сапожник из соседних будок подгребали к окошку. Рассматривая мои круги под глазами и черные от денег руки, они сочувственно предлагали:

– Квасу принести?

Я благодарно кивала и выпивала, не отрываясь, столько, сколько могла, совершенно не думая о том, что, даже если будет очень нужно, выйти из своего временного заточения не смогу.

Ровно в двадцать ноль-ноль прибывал «хозяин» с матушкой, прожжённой гражданкой ушлой наружности, ветераном торгового дела с одна тысяча девятьсот какого-то года. Азарт, с которым эта женщина пыталась меня уличить в недостаче бы, по-истину великолепен. Было приятно видеть её рвение, которое казалось сродни страстной любви к делу, но не алчности. Как-то раз, к концу рабочей недели, когда, вконец рассерженная то ли моей ловкостью, то ли своей неспособностью её разоблачить, мамаша взревела с победным кличем.

– Ага! Ошибка! – Услыхала я и, порешив, что где-то просчиталась, готовилась расстаться с заработком, но оказалось, что его лишилась не я. В одной из упаковок обнаружилось на две плитки шоколада больше, чем положено, и их, конечно, никто не собирался возвращать.

Редко кто, проходя мимо киоска, не останавливался, чтобы прочитать надпись на картонке. Женщины, молодые и не очень, которые так рьяно боролись с пьянством мужей, тоже покупали «бутылочку беленькой». При этом лица их становились мягкими, масляными, готовыми и понять, и простить, да, – мало ли ещё на что.

В какой-то из дней, в толпе, среди десятков наспех отмытых тел и подведённых сажей глаз рабочих шинного завода, я выхватила знакомый взгляд и окликнула:

– Кузнечик!!! Ты?!

Он повернулся.

– Ты!!!

Было видно, как он пытается собраться с мыслями. Я смотрела на него, – худого, поникшего, нескладного, и, раз за разом, повторяла:

– Кузнечик… милый, да как же так?

Много лет тому назад, девчонки отпихивали друг друга от замочной скважины, чтобы хоть одним глазком поглядеть, как тренируется смешанная пара по спортивной акробатике – Татьяна Кривцова и Вячеслав Кузнецов[39]. Они были Чемпионами СССР, Европы, мира!

– Кузнечик! – Едва не плачу я.

Его взгляд светлеет, и он узнаёт меня, в конце концов. Я не могу удержать слёз, ответные текут по его впалым серым щекам. Он осматривает свои ладони с огрызенными ногтями, словно впервые, – щурится на собственное отражение в витрине, и выходит из очереди, а я…. я не могу выбежать, чтобы остановить его. У меня нет ключа от двери!!!

Натруженные, сильные, красивые руки, крепкие полукружия икр, обтянутые трико, светлые волосы, тёмные брови, и беспомощные… совершенно растерянные глаза. Таким он был. Этот мальчишка знал, как надрывать сердце работой, и больше ничего кроме. Окутанный славой, увитый лавровыми венками, он оказался беспомощен перед восхищением толпы, – лицемерной, ловкой, жадной до сопричастности. Он ей скоро наскучил, и она ушла дальше, в поисках следующей жертвы обожания, а Кузнечик,

совершенно сбитый ею с толку, остался на обочине, сшибая мелочь у тех, кто краем уха слыхал о его победах.

Карусель длинных дней в заточении киоска, и незаметных, мимолётных, бесчувственных ночей, была бы вовсе уж невыносимой, если бы часть малого времени, которое оставалось на отдых и сон, приходилось бы тратить на дорогу до дома. К счастью, знакомый водитель маршрутки, совершая последний рейс, собирал нас, своих соседей, и с песнями, открытыми настежь окнами, развозил по домам. Наговорившись за день, рассаживались кто где, наслаждаясь молчанием. Мы с Юрой Клинских[40] обычно оказывались друг напротив друга и улыбались, – жалобно, отрешённо, по-родственному. Наш водитель, поглядывая через зеркало в салон, старался развеселить нас, и, бывало, кружил по круговому перекрёстку, как на детском аттракционе, – один раз, второй третий, четвёртый. Пока кто-то из нас не замечал его шалости. Выруливая на нужную дорогу, хохотал озорно, а после сладко и беззастенчиво зевал. Он окончил «на отлично» исторический факультет университета, но, чтобы прокормить жену и маленькую дочь, работал водителем, без выходных. На маршрут выезжал в четыре утра, и у каждой остановки успокаивал неловких старушек, наговаривая в микрофон:

– Бабулечка, не спешите, а то упадёте! Я обожду, мне ещё целый день кататься.

Когда подъезжали к моему подъезду, открывая двери, он каждый раз просил:

– Бросай ты этот киоск, не твоё это! Не на то училась!

– А ты, сам?! – Возражала я.

– Так я мужик, я должен семью кормить, а ты – девушка. Не трать жизнь на ерунду.

Однажды под вечер, презрев трамвайные рельсы, киоск окружили три машины. Группа товарищей крепкого телосложения организованно спешилась и строем двинулась к скворечнику. Завидев меня в окошке, напряжение на лицах сменилось растерянностью и удивлением.

– О! Это ты?! Твоё?

– Ребята! Привет! Да ну, откуда! Работаю я тут! – Улыбки, рукопожатия, объятия до хруста в позвоночнике. – Вот, спасибо, на место встал!

Оглядываю парней. С одним мы когда-то плавали по соседним дорожкам, с другим отрабатывали элементы в зале

дзюдо, с третьим отбивали до бумажной каши центр мишени в тире.

– Говорят, ты тут нечто невообразимое устроила, клиенты все к тебе бегут, соседи жалуются, нас вот позвали.

– А то! Ещё бы им не бежать! – Гордо соглашаюсь я, и предлагаю прочесть вывеску. Парни смеются, и, прежде чем уехать, интересуются:

– Что тебе у тебя купить?

– Да не надо! Зачем?!

– Надо-надо, когда ещё увидимся…

Мы расстаёмся, обнявшись на прощание ещё раз. Я обвожу взглядом товар, метко плююсь в окно, и принимаюсь подсчитывать, сколько ещё осталось до осени дней.

Музыка неба

Стылый глянец жидко-голубого неба, с не подмёрзшим ещё, ловко наляпанным нагромождением белого, и бегло прорисованными, спутанными локонами кроны, в хрустком лаке вчерашнего дождя. Лубочна ли картинка сия?

Ступил неловко на спрятанную под салфеткой наста ветку, и тут же – как если бы кровь на снегу, или поранил, обидел кого невзначай. В самом же деле – пролил совсем немного рдяной[41] красы[42], что на фоне седого пробора тропинки, – манит, зовёт, путает. И уж не мнится всё одним и тем же, серым, не пугает. Глядишь в его ржавый просвет и кажутся малыми, тихими птицами семена клёна. Машут крылами, порхают, мерещатся будто. Садятся на снег, в неглубокие гнёзда стаявших следов, и жду. Чего же? Да всё того же, весны.

Белка вздумала было выйти, казала нос из дупла, а тут: солнечный светлый прозрачный ветер, словно бы с моря, – с ближнего ль, с дальнего, – всё одно, рукой не достать. Кроны деревьев напевают песни штормов, что им ветер принёс издалёка. Часть со слов, часть – по нотам, и необидное долгое молчание пауз – замерший стук камешков один об другой.

Наслушалась Об море синица, да слёту в незапертую льдом с кануна купель. И давай, тереться, ершиться да ёжиться, отжимая пёрышки. Хотя зябко глядеть на неё, а и весело. Да ей, вроде бы всё нипочём, – припудрилась мелким снегом, и чиста, и свежа.

Под приподнятым над землёй куполом ночи, обнаружилось белое, невеское[43] утро. Побросавши все дела, синицы с дятлами тут же раздобыли припрятанные до сроку свирели, и ну-как играть. Да стройно так, верно, пусть даже и не развлекали себя музЫкой давно, почти что с весны.

Глядя в нотоносец[44] небес, они пересыпали гости хрустальных звуков с одной упругой ладони ветра на другую, прикрывая глаза, дабы не видеть ненавистного уже снега, и не слышать, как стучат от холода зубы леса.

Вся музыка, сколь не была б сложна, – из семи нот, а жизнь, та и вовсе из двух. Соль-до, соль – до, лю – бовь…

Радость

Газовая горелка солнца осветила кулисы горизонта. Сперва пламя, неуверенное в своих силах, едва освещало неубранную по углам паутину, но вскоре…

Откуда произошли и отчего в преступном забвении стояли, занавешенные серою кисеёй, заставленные навсегда позабытым нужным задники, которые не слишком умело, но рьяно малевал доморощенный левитан[45]. Набравшись ячменной[46] смелости, для того чтобы описать мнимую над нами твердь[47], тот не скупился, размазывая пожертвованную барыней прусскую синь[48], даже трижды посылал маляра в город за сурьмой да белилами, для верности,[49] и …о, чудо, что вышло! Сравнимое с рождественскою звёздною ночью великолепие! Однако ж не такое, когда все взоры прикованы лишь к чему-то одному, чрезмерно украшенному, которое, вольно или нарочно, скрадывает прочее, неубранное ничем, обыкновенное и неинтересное. Но каждое, всё, чему выпало счастье попасться ему на глаза, сделалось в одночасье загадочным, занятным, имеющем в своём несовершенстве некое, единое, присущее ему достоинство. Предметом спокойного, умиротворяющего довольства не за себя.

Север[50] не с той стороны, где мох: там и зима, и полночь, и противное югу, а радость – всегда лишь то, в чём ты её нашёл.

Крокодильи слёзы

Некто жалеет разучившуюся летать птицу, иной льёт слёзы по крокодилу, а суть в том едина, – кто-то бережёт сострадание для одного лишь себя, а другой тратит его беспечно, на тех, кому, подчас, о том и невдомёк.

В пору, о которой пойдёт речь, я был молод и постоянно кем-то увлечён. Дабы добиться взаимности, совершал обдуманные безумства. Доискивался благосклонности, посылая букеты с неловко упрятанными в них признаниями, коробки конфект или переписанные по случаю ноты, в которые, вместо Sostenuto[51], вписывал несдержанное, пылкое, далёкое от музыкальной грамоты Affectus[52]. И всё выходило легко и непринуждённо: мимолётные встречи, необременительные расставания. Всё изменилось в тот ненастный день, когда мы с товарищами, пережидая непогоду, посетили цирковое представление.

Невнимательно просмотрев несколько номеров, честно признаться, мы больше глазели по сторонам, на публику, нежели на артистов, и покричав непристойности вечно битому Рыжему[53], мы уже было собирались уходить, как вдруг, в манеж вышла девица с крокодилом. Она крутила вокруг зверя сальто, вертела им, как гимнастическим снарядом и баюкала, словно младенца. Приятели дёргали меня за сюртук, ломали щёгольский пробор, а я не отрываясь смотрел на девушку, чьё золотисто-зелёное трико, вдруг разбудило во мне отвагу остепениться.

С того вечера, место в первом ряду ложи было занято, – оттуда я восхищался бесстрашием моей обжэ. Но время шло, вскоре уж должно было состояться завершающее выступление, а мы обменивались друг с другом лишь взглядами, и ничего более.

Для того, чтобы дело сдвинулось, знакомый воспользоваться разыгравшейся кстати алчностью прислуги, и провёл меня в закулисье. Я шёл в расчёте поведать девице о своих чувствах и намерениях. Упоминая последние, нелишне будет отметить, что, даже не сказав с девушкой наедине пары слов, я был готов жениться. Решительно и бесповоротно! Более того, невзирая на ожидаемые протесты отца и рыдания матушки, я имел замысел сопровождать любимую в её странствиях.

Постучавшись в уборную, и заручившись позволением войти, я заговорил. Сперва мой голос дрожал, как свеча в неуверенной руке, но понемногу окреп и позволил, как надеялся я, осветить пылом влюблённости каждый пыльный, пропахший духами или

табаком, уголок sancta sanctorum[54]. С восторгом я расписывал то блаженство, с которым мы будем держать друг друга в объятиях до конца своих дней. (Произойти это должно было, несомненно, очень и очень нескоро.) Не обошёл вниманием и нежные утра, и уютные ленивые полдни…

– А вечером, в цирке, буду самым верным Вашим поклонником, сколько бы жизни не потребовалось на то… – Заключил я и замолк, ожидая приговора.

Девица, как ни была хороша, слушала меня с внимательным практическим[55] выражением. Имея его в виду, я всё больше понимал, что вскоре выяснится, чем должен буду заплатить за взаимность, кроме безмерного обожания и своего честного слова. Оглядев меня с милой беспомощной улыбкой, – ох, уж эта обманчивая девичья слабость! – девушка кивнула головой и произнесла:

– Хорошо, я буду вашей, но при одном условии…

Дождавшись звука её голоса в ответ, я уже был совершенно глух от счастья, и пришёл в себя, лишь девица подвела меня к скамье, на которой возлежал крокодил.

– Ну, вот. Приступайте, и покончим с этим.

Ничего не понимая, я переспросил:

– Что? Что мне сделать?

– Да, погладьте же его, не бойтесь!

Предлагая прикоснуться к левиафану, девица явно неплохо разбиралась в настроении прилежных юношей, читающих из Книги Иова[56] по воскресеньям. Я не только не решался притронуться к нему, но даже глядел с опаской!

– Ну его, укусит ещё… – Пробормотал я, почти не стыдясь очевидности своего страха. Девушка была несомненно сверх меры соблазнительна, и мне хотелось показаться перед ней молодцом, но пересилить себя никак не удавалось.

– Что вы, в самом деле! Он же холодный! – Кокетничая, подбодрила меня она.

– Да понял я, понял. – Начиная терять влюблённость, ответствовал я, всё более отступая от скамьи. – Но боюсь-то вовсе не простуды!

Девица захохотала, показывая ожидаемо острые зубки, и, как-то незаметно перейдя «на ты». принялась объяснять мне

терпеливо, как маленькому, что холодные крокодилы не представляют никакой опасности:

– Ты что, думаешь! Мы их перед вечером специально обкладываем льдом, чтобы были совсем сонные. Дотронься, не бойся!

Почти успокоенный и слегка убеждённый в невинности затеи, я решился-таки прикоснуться к крокодилу, но, едва поднёс руку к его голове, как с кукольным деревянным щелчком, пресмыкающееся распахнуло глаза, чем обратило меня в бегство.

Я спасовал. И, наверное, нисколько не пожалел о том, ибо не был готов заключить в объятия крокодила, приведя в исступление матушку и расстроив отца.

Много лет спустя, друзья юности, хорошо осведомлённые о давнем фиаско, преподнесли мне на юбилей крокодила… Это дитя левиафана, вскормленное едва ли не с яйца, так привязалось ко мне, что, при любом удобном случае, норовило забраться на колени, где тут же открывало пасть, подставляя для проглаживания нежное нёбо. Дворовые дети, и те прибегали за ним, упрашивая отпустить на прогулку. Крокодил был покладистым и нежным, но, как оказалось, чересчур. Когда, по долгу службы, мне пришлось ненадолго отлучиться, то, по приезду, обнаружил своего любимца мёртвым.

Домашние рассказывали, что сразу после моего отъезда крокодил, сделался сам не свой. Очевидно пытаясь разыскать меня, забрался в кабинете под стол, где и нашли его бездыханным поутру. Доктор, за которым послали, не мешкая ни минуты, прибыл уже к вечеру, и, исключив любой злой умысел, заявил об обнаруженном у крокодила разрыве сердца[57].

Некто жалеет разбившуюся об окно птицу, иной льёт слёзы по крокодилу, даже не подозревая о том, что они одного поля ягоды, – родственные души[58]. Впрочем, как и все мы.

Печаль

Водой, льющейся с небес, смывает гуашь румян со щёк снеговиков, и вскоре они предстанут во всей красе, – бледными, с нездоровой одутловатостью и заострившимся носом, беззубым провалом рта и потухшими угольями глаз. Ну, вот кому только первым пришло в голову, что снеговик – забавный смешливый полнокровный малыш, а не слабое его подобие?

Как одинаковы, как непохожи на себя дни. Вот, ещё вчера у порога, не стесняясь никого, рыдал дождь. Вода скапывала с кончиков веток, как с носа. Ветер, пытаясь утолить печаль, неловко, ерошил стриженные морозом чубы ветвей, и его руки делались тоже совершенно мокры, будто бы отнятые только что от пропитанных, набрякших страданием век.

Глубина горя и объятия радости… равновелики ли они? И в тот час себя не помнишь, и в иной.

Слышно, как сосед за стеной, прямо на полу у печи, колет дрова, – не тощую деревянную шелуху для растопки, а повинные в своём появлении на свет пни, – равными арбузными дольками с белыми незрелыми семечками личинок жуков. В доме скоро снова будет тепло, а за окном мокрая насквозь синица перебирает что-то в кормушке рядом с воробьём. Тот часто отряхивается, а синица не тратится на это из последних оставшихся сил. Когда птицы случайно касаются друг друга локотками, они не толкаются, не отстраняются, как это бывало в мороз, но ловят мелкие рябые волны тепла, исходящего навстречу друг другу. Синица поглядывает на воробья с благодарностью и удивлением, а тот – делится запросто, не оборачиваясь, не скашивая небрежительно хитрых глаз. Нарочно засматривается на что-то вдали, будто бы это вовсе и не он тут сидит, мокнет под дождём, с тем чтобы не мёрз товарищ в одиночестве.

Ливень не закончился ещё, как снег уже начал вплетать белые ленты в его русые косы, а ветер, спешившись и спеша, принялся прошивать бисером льда узоры по крыльям птиц. Глядеть на них и то зябко.

Ветви, цепляясь друг за дружку, тщатся противостоять холодному течению воздуха, что берётся ниоткуда, и уходит в никуда. Где он, коли нужен, дабы распутать свалявшиеся за зиму кудри, расправить плечи, разогнать застоявшуюся на холоде кровь?..

Светел и румян февраль. В нём нет ничего от сонливости

декабря и непостоянства первого месяца года, который ещё неуверен – начало ли он будущего или конец минувшего. Именно в его руках – отмытое за дерюгой ненастья, внезапное перламутровое блюдце луны, мелко растресканное кроной поднебесья. Бело-голубой мрамор февральского неба столь весел на взгляд, что не каждому даётся угадать затаённую в нём печаль[59]. Она как та, загодя грусть о том, что откроется взору, едва лишь сойдёт снег, и о том, чего ещё не произошло, да не миновать никому.

Поезд Москва-Владивосток

Дома и храм, у заплутавшей рифмы,
найти приют не каждому дано.
И вот не лень! – со вздохом неба спорить…

Память, как слоёное тесто, – то сладко хрустит, то липко и кажется недопечённым, иногда открывается постепенно и всё идёт своим чередом, а, бывает, выронишь начинку, – откуда что взялось не можешь разобрать никак.

Уютный плацкартный вагон поезда, который следует из Москвы в Владивосток на второй день пути пассажирам уже кажется чуть ли не родным. Знакомые лица, привычные запахи, привычки, с которыми было загодя решено смириться, при покупке билета именно в плацкарт.

– Почему не в купе, – ворчала супруга у кассы. – Вечно ты на мне экономишь!

– Дорогая, не волнуйся понапрасну, не порти себе нервы. Тебе понравится!

– Да уж! Неделю ехать в коммунальной квартире!

– Ну, некоторые всю жизнь так живут, и ничего, – хорошие, порядочные люди.

– Ты хочешь скандала?! – Прищурившись начинает кипятиться женщина.

– Что ты! Напротив! Надеюсь, ты посовестишься пилить меня принародно!

– И не надейся!

Сверившись с билетом, пара отыскала купленные места. Постели оказались чистыми и заправленными, столик украшала симпатичная вазочка с неопознанной зелёной веткой, там же лежали граждан пассажиров салфетки, сахар и печенье.

– О! – Потёр руки мужчина. – Сейчас – чайку и на боковую!

– Мучное на ночь вредно! – Возразила супруга.

– Что ты! Твою фигуру ничем не испортить! – Двусмысленно парировал мужчина, и, задержав кстати проходящего мимо проводника, поинтересовался, когда можно будет получить кипяточку.

– Да-да, конечно, минут через десять! – Предупредительно улыбается тот и с озабоченным лицом следует дальше по проходу.

Перед тем, как улечься, женщина стучит мужу, который уже забрался на верхнюю полку:

– Имей в виду, если ты будешь опять храпеть, я не смогу выспаться и снова будет болеть голова, а от этого у меня портится настроение.

Мужчина делает вид, что уже спит, дама с недовольным выражением закрывает глаза, а уже через минуту вагон сотрясается от её молодецкого храпа. Соседи заглядывают к супругам, старушка через стенку даже пытается повернуть женщину на бок, но мужчина, перечеркнув пальцем улыбку, разгоняет сочувствующих.

Свесившись с полки, он долго разглядывает супругу. Осыпавшуюся тушь, остатки помады на губах, предательски съехавшую на бок тряпочку измятой щеки… Заметив капельку слюны, стекающую на подушку из приоткрытого рта, мужчина тянется к столику, выбирает салфетку и осторожно промокает жене губы. Она улыбается во сне, но потом как бы спохватывается, открывает глаза и требует строгим голосом:

– А ну-ка! Всем спать! – Падает на подушку и принимается храпеть вновь.

Мужчина тихо смеётся, и уже собирается было отвернуться к стенке, как с боковой полки, где едет девушка, слышит шепот:

– Как же вы её любите…

Мужчина пытается нахмуриться, но обстановка не располагает к тому, и согласно кивает:

– А как же!

– Но она же ругается на вас! – Удивляется девушка.

– Да нет! Она нас просто в строгости держит. Иначе никак!

– Кого – вас?

– Меня и двух сыновей. Военные мы, нам без командира нельзя. На службе мы командуем, а дома – она. Мы с молодости вместе, как ниточка с иголочкой. Она со мной по всем гарнизонам… – Мужчина потёр лицо ладонями, разгоняя слабость. – Девчонкой ещё была, а сумела с первого дня себя поставить. Бывало, приду из казарм в барак, где мы жили. Длинное такое строение, типа коридора, поперёк верёвки, на них вроде бы как занавески, чтобы лейтенантов с жёнами расселить. У всех бардак, ссоры, а в нашем закутке ни пылинки, всё по уставу. Стола не было, так она чемодан один на другой положит, салфеточкой накроет, тарелку с ужином поставит, и меня ждёт. Всё честь по чести. И помыться заставит, и зарядку по утрам.

– Счастливые… – Вздохнула девушка. А я своего три года

ждала, он втихаря женился, ко мне приехал, обнял, расцеловал, и сказал, что уже женат. Именно, что сказал, не повинился. Я расстроилась, ну и решила, что, раз такое дело, нам видеться больше не надо.

– И правильно! – Похвалил мужчина.

– Правильно-то оно правильно… Но он так на меня обиделся!

– Да? Каков нахал!

– Сказал, что сумел вырваться из-под надзора жены, и хотел посвятить мне целый день.

– И что вы ему ответили?

– Что я, дура, всего-навсего, хотела посвятить ему целую жизнь.

– Вы совершенно верно ему ответили, милочка – Раздался женский голос из другого купе. – И вы не дура. Вы – доверчивы и наивны, но мужчины не все таковы, как ваш бывший, а держать их надо вот где, – и потрясла кулачком.

К обсуждению присоединился сосед с полотенцем на плече из другого вагона, проводник, пришедший выяснить, в чём, собственно, дело, и не нужно ли кому вызвать врача, позже подошёл прапорщик, который шёл в вагон-ресторан. Через некоторое время, если судить по тому, что рассказывали друг другу люди, выяснилось, – ни один из них не был похож на того, с кем не сложилось у девушки с нижней боковой полки.

Поезд Москва-Владивосток. Словно пузатыми вагончиками игрушечной железной дороги, он пересчитывал перегоны, шпалы и переезды, не сбиваясь нигде. Так и жизнь, – идёт по своим рельсам, и кто-то выходит из твоего вагона на полустанке глухой ночью, как тать, а кто-то заходит, берёт за руку и едет рядом. Весь путь, до самого конца.

Стулья

– А вы знаете, какие у ваших соседей стулья?

«Глупый вопрос», —скажете вы. А вот и нет! В детстве, на праздники или когда приезжала родня, пока накрывали на стол, мы с сестрами и братьями возились в комнате деда. Пересчитав гостей, бабушка заглядывала к нам и говорила, сколько надо принести стульев от соседей. Радостные, мы бежали наперегонки, стучали в двери, перенимали от улыбающихся хозяев мебель, сообщали, кто уже приехал, а кто обещает быть с минуты на минуту, и мчались назад в квартиру.

– Осторожнее! – Раздавалось нам вслед. и никто не опасался за стулья, но лишь бы мы не улетели, зазевавшись, в пролёт.

Каждый стул был, как посланец, представитель семейства, откуда был взят, – крепкие или скрипучие, табуреты или стулья со спинкой, они тоже становились нашими гостями. Мы вытирали их чистым полотенцем, табуреты же покрывались газетой и получали небольшую подушку поверх.

Частенько, вместе со стульями, приходили и их владельцы. Не для того, чтобы присмотреть за имуществом, но – так, разделить нашу радость от долгожданных «родычей». Чаще всего у нас бывали тучная пенсионерка Ольга Ивановна со второго этажа, повариха Валя из квартиры напротив и безымянная бабушка, у которой никогда не запиралась, на всякий случай, входная дверь. Валя, дородная свежая девушка, мало ела, немного смущенно улыбалась по сторонам и явно наслаждалась обществом. Безымянная старушка сидела за столом как гимназистка за фортепиано, – с совершенно прямой спиной и приподнятым подбородком, а ела молча, не глядя ни на кого, всё, что ей подкладывала на тарелку бабушка. Ольга Ивановна шумела, будто бы мы у неё дома, а не наоборот, влезала в каждый разговор, сообщая своё мнение, ела неаккуратно и жадно. В любом другом доме Ольгу Ивановну сочли бы нежеланной гостьей, но у нас к ней давно привыкли, и считали своей.

Ольга Ивановна с трудом спускалась во двор со своего второго этажа, усаживалась на скамейку, доставала бумажный фунтик из газеты с жареными подсолнухами, и грызла их в подол, до самого вечера. Если же она оставалась дома, то часто стучала по батарее гаечным ключом, привязанным нарочно к трубе. Заслышав стук, бабушка немедленно бросалась наверх. Часто, почти всегда, оказывалось, что ничего страшного не произошло,

но бабушка не сердилась на Ольгу Ивановну. Зато очень злился на неё я, мне казалось, что соседка отнимает у меня время, которое я могу провести с бабушкой.

– Не расстраивайся, – угадывала моё настроение бабуля. – Ольга Ивановна одинока, к тому же, мы дружим много лет. Ну, вот представь только, ты вырастешь, женишься…

– О! Когда это произойдёт, мне дадут квартиру, я выгоню жену и возьму тебя к себе жить, вместо неё! – Горячо убеждал я.

Бабушка глядела на меня поверх очков и, прикусив губу, чтобы не рассмеяться, переводила взгляд в книгу, – она каждую свободную минутку тратила на чтение.

Переждав немного, она говорила:

– Спасибо, конечно, но надеюсь, что этого не произойдёт.

До моей женитьбы бабушка не дожила пятнадцать лет. Ольга Ивановна, нам было слышно это через потолок, громко рыдала по своей подружке, но так и не смогла спуститься, чтобы проститься с нею. Валя, из квартиры напротив, плакала и варила в огромной алюминиевой кастрюле кутью на поминки. Дверь же безымянной старушки оказалась заперта. Как оказалось, накануне похорон бабули, отыскались её родственники и по-быстрому увезли, чтобы затем сдать её в дом престарелых.

В тот день страшный день некому было попросить меня обежать соседей, чтобы принести стулья. Думаю, я бы и не смог.

Одноклассница

Выше пояса, от мраморного Аполлона его отличал лишь нежный золотисто-бежевый оттенок кожи. Рельефные полукружия мышц радовали солнце своим ухоженным, готовым к любому движению видом чуть ли не с первых дней марта, а потому загар, который сообщал телу столь приятный цвет, не успевал исчезнуть насовсем в течение всего года. Постоянное выражение лукавства в его глазах, едва сдерживала мелкая строчка ресниц. Короткая стрижка чёрных, с проседью, волос напоминала спинку ежа, её хотелось погладить, но, мало ли, – вдруг рассердится и уколет. Впрочем, при всей своей мужественной внешности, парень был на редкость мягок, отзывчив и добр. Неизвестно для чего природе вздумалось пошутить над ним, но ноги у молодого человека были чрезвычайно кривы, и как не пытался он сделать сей изъян чуть менее заметным, не выходило никак.

Парень жил вдвоём с матерью в крошечной однокомнатной квартире. Зайди кто к ним в гости, то был бы нимало удивлён тем, что в комнате, заставленной книжными шкафами, располагалась лишь одна кровать. Для второй фактически не было места, и посему мать с сыном распорядились своею жизнью, сообразуясь с жилплощадью. Они спали на одной кровати в очередь, работая в разные смены. Если сын трудился днём, мать уходила на завод в ночную смену, и наоборот. Они существовали таким образом годами, и давно уж привыкли видеться урывками.

Несмотря на отсутствие своего угла и вопиющую кривизну ног, молодой человек пользовался невероятным успехом у дам и девиц. Почти что каждая спешила заручиться его благосклонностью, но, добившись её, будто бы ставила отметку в своём листе[60] и исчезала. Молодой человек воспринимал это философически, но очередная, внезапно пропавшая из виду пассия, не добавляла ему уверенности в себе. По его собственному убеждению, женщины стеснялись показаться с ним на людях. Как бы сильно не прельщало их то, что они видели выше талии, уродство, которое выворачивало брючины на стороны, унижало их в собственных глазах.

– Они – дуры! – Успокаивала молодого человека бывшая одноклассница, просидевшая с ним за одной партой все десять лет. – Ты – замечательный, милый, работящий. В тебя невозможно не влюбиться!

– Влюбиться – может быть, – соглашался он. – А вот жить со

мной не хотят, стыдятся. Пройти рядом стесняются при свете дня!

– Они – ду-ры!!! Пойми ты это, раз и навсегда! – Повторяла одноклассница и хлопала себя по бокам.

Молодой человек недоверчиво глядел на неё и, задираясь, интересовался:

– Ну, ты бы вот, пошла за меня?!

– Легко! – Отвечала девушка, не задумываясь. И столько было в этом отклике недосказанного, несмотря на его очевидную беззаветную искренность…

Прошёл год, едва ли больше. Одноклассники не виделись некоторое время, и вот однажды произошла, не обусловленная никакими явными причинами, случайная встреча. Молодой человек шёл, приветствуя подругу издали и размахивал руками, будучи не в силах скрыть своей радости:

– Я женюсь!

– Да? Поздравляю. И когда же?

– Скоро! Вот только сперва сделаю операцию.

– Что с тобой? – Встревожилась одноклассница.

– Ничего страшного! Она сказала, чтобы я выпрямил ноги, и тогда она выйдет за меня!

– Ты… ненормальный?!! Зачем тебе это?!

– Ты не слышишь?! Это её условие!

– Я, я выйду за тебя замуж, безо всяких условий! – Вырвалось вдруг у одноклассницы.

– Прости, но я тебя не люблю… – Грустно и просто ответил молодой человек.

Никакие уговоры и доводы не действовали на несчастного влюблённого. Своим сияющим от счастья взглядом он был способен подпалить не только промасленную ветошь гаража, в котором теперь работал, но и каменные его стены.

Через три месяца, когда из совершенно здоровых крепких непрямых ног были выкроены ровные, невеста нарушила слово и разорвала помолвку. Она хотела в мужья Аполлона, а калека с палочкой испортил бы её безупречный вид. Да, кстати, в больницу к нему она так ни разу не пришла.

Кривизна ног и души… Это совсем не одно и тоже.

Мама

Жизнь – это баррикады, которые надо преодолеть – говоришь ты, а я.… я не боец, я не могу воевать и причинять боль, чаще всего, всегда – наоборот.

На баррикады – это быть готовым обидеть, обдумывать этот шаг, собираться с духом, растравливать свою решимость, как пса, или заранее воображая скорбь, прощать себе потери, коих никогда не избежать. Но нет, я так не могу. Не хочу.

У жизни есть то, страшное, о чём не хочется знать, думать, говорить. Но ты не устаёшь повторять о том, что земля – это один сплошной погост… Ты так смела или безрассудна? Отчего я никак не могу уразуметь, чего в тебе больше – отваги или безразличия, ведь только не делая отличий меж счастьем и бедой, можно так спокойно рассуждать об этом.

Ветер идёт по улице, не скупясь на шаги, не подбирая заледенелые уже полы своей просторной шубы, цепляет ею за стены домов, бьётся о стёкла. Походя ломает деревья, как тонкие ветки. Чтобы не заплутать после, найти дорогу назад, или просто знать, что уже был здесь, и сделал всё, что мог?

Из окон коммунальной квартиры, глядя в полутёмный двор, я воображаю себе дворцы, оленей, тихонько переступающих по мощёным тропинкам и пасущихся смирно, словно коровы. Я не замечаю пьяниц, играющих в домино, а ты видишь их, и злишься, и кричишь, и гонишь прочь. Но они не уходит, им тоже нужно место, чтобы где-то строить пшеничные[61] и ячменные[62], видимые лишь им одним замки, как малышам нужны свои, дабы возводить их из песка.

Ты говоришь, что N гениален, ибо прост, я говорю о том, что это скорее говорит об его наивности и неумении зачерпнуть глубже. И ты бьёшь об пол посуду, и называешь меня грязно, а я плАчу, плачУ слезами за неумение отстоять правду того, что чувствую, и могу, но не осмеливаюсь тебе сказать.

Мама взяла часть отпуска, чтобы провести со мной зимние каникулы… Зачем? Зачем она мне их испортила?

– Что это за закорючка в комсомольском билете?
– Это моя подпись! На английском! Правда, красиво!?
– Что-о-о?!!!
– Дрянь! Как ты могла?!!!

– У меня такой плохой почерк на русском, мне не хотелось пачкать билет…

– Но ты сделала это!!! Испоганила! Осквернила!!

Тёплые пальцы ветвей перебирают нежно седые кудри небес, и они плачут тихо от этой нечаянной ласки, будто от боли.

Мама, я тебя боюсь… Я люблю тебя, мама.

Хорошее

Вы спросите меня, чем так хорош февральский лес? Запоздалым конфетти мелко нарезанных снежинок, зависших в воздухе, как кажется, навечно. Оплывшими от солнца голубыми тенями, что стекают по полянам, бодрым бегом оленей от куста к кусту. Случаем, по которому выглядывает из-за дуба лисица, дразня то ярким подолом хвоста, то дерзким взором. Об эту пору особенно покоит некоторая отрешённость белок. Они перестают суетиться, чаще задумываются о своём, девичьем. Теперь-то уж они точно уверены, что хорошо подготовились к зиме, – только-только почали вторую кладовку, а уже скоро весна.

Птицы… Ну – для тех ещё много трудов впереди. Воздавая хвалу любой хорошей минуте, они поют стужеными голосами, в надежде, услаждая её слух, задержать подольше, но… Ветрена она, ибо молода сердцем, и забывчива от того ж. Наслушается всласть птичьих переливов из пустое в порожнее, и бегом, не ведая сама о том – куда. Её удел: побыть рядом, ободрить, наклониться, подуть в темечко, и дальше, – к другим, поникшим и рассеянным, озябшим и озабоченным. А после неё, снова – будто и не было ничего. Впрочем, есть ещё одно – надежда, уверенное поджидание того, что не позабудет хорошее, да явит свой светлый лик вновь.

Но, до той поры, – ветер толкает дятла и дёргает за полы тесной давно кацавейки, задирает её, продувая нещадно до серой кожи. Так жаль и его, и блекнущей шапочки, что уже совсем не похожа на некогда нарядный червлёный бархат[63]. Дятлу не хочется отходить от кормушки никак. Стращает синиц легонько, воробьёв – чаще, те не пугаются, а пытаются прогнать его в ответ. Одна радость, – несмотря ни на что: и он будет сыт, и они. Да после, кто в дупле, а кто под тёплой крышей у печной трубы, проснутся однажды от шума просЫпавшихся на подоконник ледяных карандашей. То весна, распоряжаясь тем, что досталось ей после холодов, станет приводить в порядок вздымающиеся из границ формы, раскисшие от уныния берега, и всё прочее, чему так нейдёт отсутствие должного ухода. А постукивать карандашом от волнения, – дурная привычка, да у кого их нет?!

Впрочем… пока ещё февраль. Всполохи в печи, как осторожное шарканье по паркету. Словно идёт кто тихо, стараясь никого не разбудить, а после – то ли треск, то ли стук каблучков

девицы, возвратившейся от сердешного друга, или старушка, что шла так долго, сослепу, да ненарочно обронила что…

Если бы теперь…

– Маленькая страна – это страничка, да?!

Франция… небольшая, в общем, страна. В детстве, несмотря на интерес к многочисленным картам и атласам, она казалась небольшой, теряющей очертания морской звёздочкой, выброшенной на берег Балеарского моря[64], и ограничивалась одним лишь городом, пядь[65] земли которого, запакованная в крохотную коробочку чёрной пластмассы, однажды оказалась в моей руке. Поверх коробочки красовалась миниатюрная копия башни Эйфеля. Помогая бабушке вытирать пыль, я проверял, насколько крепко прилажена она, и усердно пытался отодрать модельку, в надежде заполучить её, в конце-то концов, себе для игр, как это уже случилось со всем бабушкиными старинными часиками из золота и серебра. Заметив непотребство[66], бабушка неизменно забирала у меня из рук фигурку, устанавливала её повыше, на шкаф, повторяя в который раз:

– Я не могу тебе её отдать. Елена Антоновна обидится.

Елена Антоновна была старинной приятельницей бабушки. Честно говоря, я не понимал, что могло связывать их. Елена Антоновна, – так мне казалось, – чопорная, одинокая и бездетная, совершенно не умеющая готовить, и вовсе не приученная делать какую-либо работу по дому. Бабушка же – жена офицера, учитель и мастерица на все руки, глядела на всех устало, но ласково, выращивала под окнами цветы, а, если мимо проходили влюблённые, непременно останавливала их и срезала для девушки в подарок большой букет.

К тому же, Елена Антоновна смотрела на всех свысока, с едва заметной усмешкой небрежения. На всех, кроме бабушки, которую явно уважала. Только вот – за что, почему, – спросить про это я не решался. Просто старался быть поближе, когда они вдвоём. Вдруг, да услышу что, и разгадаю тайну, – для чего она бывает у нас, несмотря на недовольство деда, который, при виде Елены Антоновны заметно свирепел, сжимая губы, и запирался в кабинете, а выходил лишь после того, как в спину гостье хлопала губами входная дверь, едва не прищемив металлический язычок замка.

Иногда и мы бывали у Елены Антоновны, но, едва переступив порог её квартиры, мне уже хотелось бежать оттуда, – очень уж не нравился запах в комнатах. Бабушка мне объясняла, что в самом

деле это приятный аромат пачули[67], любимых духов Елены Антоновны, но у меня от него нос словно пачкался изнутри, покрываясь налётом.

Пока подруги сидели, чаёвничали за неторопливым разговором, называя друг друга исключительно по имени-отчеству и «на вы», я был вынужден занимать себя сам. Разглядывал застеклённые полукружия французских балконов, тесно заставленных цветами, пересчитывал мраморные статуэтки на комоде, фотографии на стенах, складки многослойных гардин. Постепенно я начинал привыкать к запаху пачули, к ритму голосов… Иногда даже, кажется, засыпал, и, сквозь дремоту, мне чудились гортанные мягкие кружева французской речи.

Елена Антоновна. По сию пору, едва я слышу вновь это довольно редкое сочетание имени и отчества, то в воображении возникают: Париж, элегантный маникюр наполовину прикрытых манжетами рук, приятный запах незнакомых духов, неизменный перманент. Сквозь золотисто-персиковое облачко шёлковой косынки, что окутывала шею Елены Антоновны, проступали морщины, родинки и бородавки. В отличие от точно таких же на шее бабушки, – уютных и милых, они гляделись загадочно. До них не хотелось дотронуться, нравилось просто – смотреть и воображать, как, сквозь звёздную пыль косынки летит серебристый шарик спутника, со сбившейся назад шевелюрой антенн.

Самое главное достижение старости – допускать существование мира во всём его многообразии. До того, – хочется подчинения, порядка, стройности, ясности, наконец, а после, когда приходит постижение необходимости видеть жизнь во всём, чего касается мысль, нужда в том теряется, как и сам по себе способ насладиться тем, что, наконец, обрёл.

Елена Антоновна, бабушка. Эх… если бы теперь… Я непременно тоже постарался бы прислушиваться к их беседам, но не искал бы подвоха, а просто – радовался тому, что они живы и рядом, вот и всё.

Место, где ты стал самим собой…

Рассвет, весь в затяжках лишённой листвы кроны, не выспавшийся и неумытый, рассеянно гляделся в своё отражение. Оно казалось ему нелепым и неправильным от того. Сам себе он мнился ого-го каким молодцом, хотя в самом деле… Нет, ну, само собой разумеется, – случались ещё дни, когда он был румян, светел, вдоль и поперёк хорош. Но не теперь. Не нынче. Не в тот самый час, когда, обративши к нему лицо, были замечены и некая, неопределённая, невидимая глазу, потасканность, неухоженность, да, – вон ещё, – то ли солома в волосах, то ли гнездо ворона висит репьём в нечёсаных кудрях.

Сияющее гранями облако и чёрный силуэт сосны на его фоне – печатью чего-то былого, частью доброго, отчасти нет, – тревожило подспудно, как солнце, что не в силах прожечь портьеру, давит на неё, вынуждая приподняться слегка, дабы пролить по краям хотя немного света.

И тут же, откуда ни возьмись, ровное, словно нарисованное облако – вот оно, зацепилось за крышу дома, надеясь остаться там навсегда, и быть хотя бы чем, – дымом из трубы, клочком тумана, утренним паром, дотянувшемся из купели реки, розоватой пенкой непременно вишнёвого варенья над медным озером таза в саду. И – держаться, держаться изо всех сил, как можно крепче. Лишь бы быть тут и видеть, присутствовать, кичась не сопричастностью, но сопереживанием. Неумением обойтись без оного.

Лес шёл куда-то, мимо, перебирая подмёрзшими копытцами, бил ими нещадно через фетр наста о промёрзшую на пол фута[68] землю, будил её, сердешную, от вечного сна, фыркал лошадью игриво, кивал облаку, самодовольно встряхивая гривой вздоха:

– Ну, вот и зачем оно тебе?! Шло бы ты себе мимо по небу, не касаясь ничего: увидел красивое – порадовался, грязное – прикрыл глазки и мимо, мимо, мимо. А коли где чёрный дымок, так дыши помедленнее, а то и вовсе обожди. После уж переведёшь дух, как выплывешь на чистое место.

– А если их не останется, тогда как? – Засомневалось облако.

– Кого это? – Ухмыльнулся шершаво[69] лес.

– Чистых мест! – Пояснило облако, встревожась.

– Да ну, – Зашлась от хохота чаща, – на твой-то век хватит, небось…! Так чего канителиться, себя не стеречь[70]?

Ветер, что тихо стоял тут же, промежду двух оврагов, заполненных доверху тенями, закрутил головой, негодуя, так что посыпалась отовсюду снежная мучная пыль, налетели мелкие колкие мухи с прозрачными ледяными крылышками. Да нахлестал ветер ту лошадь по щекам, наотмашь, как полагается. Ну, а как ещё привести в чувство, коли иначе, по-другому, по-хорошему не понимают?!

А как ветер утих, согласная с ним сойка грузно присела на виноград, и с хищным жеманством принялась обдирать ягоды, что висели уж не сами по себе, а на одних только черенках колючих и ломких льдинок. Выискивая просыпанные намедни зёрна, синицы хлопали по сугробам, разгребая их. Воробьи помогали им тем же манером, и от того носы у них были в снегу, как в молочной каше. С тем и застал этот край закат.

И совсем скоро, поддавшись обаянию вечерней зари, лес таял в её объятиях, понемногу растворяясь в сиянии, млел и рдел от того бесстыдно. Вероятно, понял что, а может и нет, но уж молчал, и не думал даже лишнего ничего, не отговаривал облако бежать из мест, в которых оно стало самим собой.

Холостой

Вода в шестьсот раз плотнее воздуха, поэтому всё, что происходит с тобой под её зеркальным потолком, ощущается иначе, чем на поверхности. Звуки скорее достигают разума, ощущения притупляются, боль чувствуется меньше. Можно смотреть, как из раны вытекает кровь, и не сразу испугаться.

Ближе к середине дистанции я сперва услышала, как рвутся связки на ноге, а лишь потом почувствовала боль. Но… Прижав загубник зубами, едва не перекусив его, изменила движение тела, и дошла до финиша, как раненый дельфин.

Врач попался хороший, верно оценил обломанный в борьбе с болью в ноге зуб, быстро выудил из саквояжа ампулу хлорэтила, заморозил голеностоп и бодро сообщил:

– Ну вот, ваши соревнования, я так думаю, на этом закончились. Будете сидеть на трибуне, болеть за свою команду, а как приедете домой, – хирурги вам помогут. Ну, и, я так думаю, месяцев через шесть, при хорошем развитии событий, сможете приступить к тренировкам. Конечно, постепенно, не сразу…

– Доктор… – Перебила его я. – У нас завтра эстафета. В ней участвуют четыре спортсмена, я – четвёртая, и мне никак нельзя подводить команду.

– О, что вы! Об этом не может быть и речи!.. – Начал было свою тираду врач, но я прервала его:

– Дайте-ка мне вот эту штуку, если можно.

– Ампулу?

– Да-да. Я завтра отдам.

– Да берите, пожалуйста, не надо ничего возвращать! У меня ещё есть. Знаете, как пользоваться?

– Конечно, не в первый раз.

Под удивлённым взором доктора, туго крест-накрест бинтую ногу, поднимаюсь и потихоньку-полегоньку выхожу. Сперва до гостиницы, потом до кровати. Приподнимаю ногу на подушках и, пока не проснулась боль, спешу заснуть сама.

Ранним утром следующего дня, заново перебинтовав ногу, всё так же осторожно хромая, выхожу на пробежку. Старты начнутся после обеда, и мне обязательно надо быть готовой к этому времени. Ноге явно недостаёт разорванных связок, и надо как-то уравновесить причинённый себе самой, от излишнего усердия, ущерб.

Невысоко приподнимая над землёй ноги, я бегу кросс. Ступня, лишённая привычной связи с голенью, пытается завернуться вовнутрь, и её приходится наставлять на истинный путь, прямо на лету подбивая здоровой ногой. Со стороны это похоже на дикий танец, но без зрителей и партнёров. Нога пытается протестовать, ей хочется прохлады и покоя, но я уговариваю, заставляю её, скрипя оставшимися зубами. Пот мешается с непрошеными слезами, но это только ещё больше раззадоривает.

От дверей гостиницы мирного Волгограда до подножия пропитанной кровью сто второй высоты Сталинграда, всего семь километров. И мне, чтобы не было стыдно перед тридцатью пятью тысячами погибших солдат, надо пробежать их. Я решила именно так. Конечно, если бы всё это произошло в любом другом городе СССР, я тоже не стала бы ныть и валяться в кровати, но на глазах города, в Зале славы которого рука сжимает факел памяти прямо из недр непокорённой земли… Кем надо быть, чтобы позволить себе раскиснуть?!

К тому моменту, когда я подбежала к первой из двухсот ступеней мемориала, по количеству дней Сталинградской битвы, нога устала сопротивляться. Она тупо и ровно билась о землю, по большей части состоящей не из кремния, а из осколков и пуль, пробивших навылет тысячи живых тел. Нога перестала ловчить, ни одна из ступеней не была пропущена, но, пока я добиралась наверх, со всех сторон явственно слышался свист пуль, и было очевидно, что, прояви я малодушие, остановись хотя на миг, – любая из них сразит наповал.

Добежав до подножия Родины-матери, я подняла голову вверх, и увидела одобрение в её глазах. У каждого свой способ поминовения павших.

Перед эстафетой врач нашёл меня и попросил снять бинты. Потрогав ком сбившихся на сторону связок, покачал головой:

– Непостижимо…

– Ну, как есть, – Ответила я, покрепче сжала загубник зубами, и сразу после выстрела прыгнула в воду…

На этот раз это был холостой.

Недосуг

До Масленицы ещё далеко, а с неба уже насыпало снежной муки «с горкой», дабы всем вдоволь, чтобы не обделить никого, да не пройти ни проехать: ни на службу, ни по дрова, ни так погулять без цели и церемоний, переступая звериные тропы, чтобы на всякий случай не заплутал кто из их детворы. Шаг по свежему снегу мягкий, вкрадчивый, невесомый, шаткий, неверный. Пади в него, вскипит ввысь холодными перьями.

Ближний лес через прищур снегопада мнится дальним, а того и вовсе не видать.

За окном метель в который раз прячет от птиц миску с насыпанными специально для них зёрнышками. Вот только что ходил, счистил всё, и вот уже не видно округ ничего, кроме размотанной штуки[71] холодного бархата снега.

Я вздыхаю, и, глядя в окно, принимаюсь чистить яблоко. Тонкую кожуру срезаю от пупка до хвостика так, чтобы получилась одна-единственная полосочка. Плоская змейка с разноцветной спинкой послушно ложится на стол зеленовато-белым влажным животом.

– Кто научил тебя так чистить яблоко? – Спрашиваешь ты.

– Никто. Сам. – Неохотно отвечаю я.

– Врёшь? – Угнездившийся в твоём вопросе ответ радует меня, и, довольный скорым разоблачением, я киваю головой:

– Вру!

Точно так же, стоя над ведёрком у раковины, чистил яблоки дед. Хвостик змейки уже во всю болтался внизу, касаясь мусора, и, по моему входило, будто бы он ест прямо из ведра. Наблюдая за тем, я морщился брезгливо. Мне страстно хотелось подбежать, вырвать из рук деда яблоко, бросить его так сильно, чтобы, задев край ведёрка, оно изрядно поранилось, и упало туда, где, безмятежно свернувшись в кольцо, уже лежали очистки. Я был как тот недотёпа из сказки, что сжёг лягушачью кожу суженой.

Однажды дед-таки заметил моё недовольное выражение, и проговорил:

– Жалко выбрасывать, я бы и очистки съел, да жевать нечем. А так – вроде уже испачкались, вот и не возьму.

По сей день помню, как стыд ударил меня наотмашь по

щекам. Я был готов… Да не знаю, на что я был готов! Просто совестно стало, из-за того, что сам-то мог зубами хоть орех разгрызть, а дед вон… Я же не маленький, слышал и про войну, и про голод, и про другую войну. Откуда было взяться крепости в тех зубах?

Располагаясь на уютной завалинке раздумий ни о чём, опасаешься подчас шелохнуться, чтобы не спугнуть ненароком тех, кто, возникает из сгустившегося тумана воспоминаний. Одни задерживаются рядом надолго, другие лишь немного постоят рядышком, а иных приходится гнать, чтобы не занимали чужого места. От того оно стыло, да пусто, и останется таким навсегда, – чистым, как будто бы ненужным никому. Дед – как раз из тех, для кого хранится сей нетронутый уголок рядом. Только вот… некогда было ему присесть, недосуг.

Так и знай…

Укладывает дед внука, а тот страшась вечерних теней, глаза распахнул широко, вот там-то без спросу всякая ерунда и видится. Вишня за окном и не вишня вовсе, а чудище рогатое. И метель, как нарочно, то белым ледяным песком прикинется, то прозрачным камушком. Тревожно парнишке. Днём-то, вроде как всё набело, а ночью начерно. Как малому не испугаться? Просит:

– Деда, расскажи сказку! А то я без сказки не засну!

– Сказку-то? – Смеётся дед. – Какую ж тебе?

– Да любую, только подлиннее, чтобы ты ещё говоришь, а я уже сплю.

– Что ж мне, до утра тут разговоры разговаривать? – Смеётся дед.

– Да нет, дедушка, немножко. Ты только проверь, что я точно заснул, а после уж и иди.

Прикрыл дед глаза, сжал ладонью ручонку внука и начал свой рассказ…

.. Шёл третий месяц зимы. И уж, казалось бы, угомониться ей, ан нет. Как взялась она укутывать окрестности белым пушистым платком снега. Перетягивает крест-накрест дорогами, оборачивает и скрепляет утренним морозом узелки на спине, чтобы не распустились, дабы не продуло и не просквозило. Февраль хорошо знал, что, хотя и весна скоро, но, даже со всеми её всполохами и раззанавешенными яркими небесами, она довольно холодна поначалу. Не с кого ей снять лекала для примерки щедрости и сочувствия, не от кого узнать, – какое оно, настоящее, искреннее тепло. Улыбнуться улыбнётся, да, чуть поворотит голову, и уже мрачна да неприступна. Впрочем, не со зла, и то славно.

Свежа весна, но неприветлива, и не так сдержана, как равнодушна. Пока ещё примерится, каково это, быть собой, – и зимой побудет, и поздней осенью. Научится счастью за других, горю не о себе, – глядишь, – она уже и мается во всю, наловчилась, пообвыкла, а тут уж и лету черёд. Просушит оно все её слёзы, угомонит, да погонит спать:

– Полно тебе! – Смеётся лето.

– Как же это? – Просит повременить весна. – Я только-только во вкус вошла!

– Нет уж, что моё, то моё. – Хмурится лето, и по-матерински

напутствует на будущее:

– Ты впредь, ровно как я, каждой минуткой дорожи. И то мало покажется, по себе знаю. Мы, времена года, друг за дружкой следим, чуть кто зазевается, – спешим урвать себе лишний кусок. У меня вон в каждой тени – осень прячется, ночами зима наведывается, ну, коли тебе когда скучно станет, и ты заходи.

– А можно?! – радуется весна.

– Ну, отчего ж… – Разрешает лето. – В гости-то оно завсегда можно… Как оступлюсь о камешек, переверну, да увижу нежный белесый росточек, так и буду знать, что гостила ты у меня…

Дед перевёл дух. Внук давно уж спал, на сундуке в ближней комнате сидела Маша, Мария Тихоновна, супруга деда. Делала вид, что шьёт, а сама слушала, боясь шелохнуться. Дед посмеялся тихонько, и прежним голосом, каким внуку сказку плёл, спрашивает у супруги:

– Чего притихла-то? Дожидаешься чего?

Та покраснела, за шитьё ухватилось было, да бросила и говорит:

– Дюже интересно мне, чем там дело кончится.

Вздохнул дед, поправил одеяло на мальчишке, вышел из ребячьей спаленки, подошёл к жене, обнял, прижал к себе, и, расслышав особый, знакомый с юности стук её сердца, одними губами произнёс:

– Не жди, не кончится это дело, ничем и никогда. Хорошее, оно не имеет цены и предела. Так и знай…

Гроза

Бледные, некогда горячие живые пальцы оплывшей свечи, сжимали край подсвечника заодно со скатертью, на которой стоял он с сумерек до полуночи.

В этом доме свечи зажигали просто так, и если они были нужны. К примеру, когда сам по себе внезапно тух свет или собиралась гроза, во время которой выключали из розеток всё-всё, да сидели, упираясь коленями в полочку под столешницей, напряжённо ожидая: быть или не быть пронзёнными надломленным копьём молнии. Особенно переживали за телефонную линию. Чёрный аппарат, надёжно связанный с круглой розеткой толстым шнуром, было невозможно насильно избавить ни от коротких гудков, ни от длинных, а уж разговаривать по телефону в грозу – это казалось чистым безумием. Поэтому, если телефон вдруг принимался звонить, все с гневным напряжением глядели в его сторону, уповая на то, что он замолчит вскоре сам. В крайнем случае, когда трели становились особо долгими и назойливыми, к аппарату подходила бабушка:

– Кто говорит? Перезвоните завтра, у нас гроза! – И тут же возвращала трубку на рычаг.

Дребезжание распахнутой ветром, случайно незапертой форточки, также приводило обитателей квартиры в ужас, ибо каждому было хорошо известно, что шаровая молния является без приглашения даже через закрытое окно, а уж в открытое… Испуганно глядя друг на друга, ротозеи никак не могли договориться, кому устранять допущенную оплошность, и бабушке, не дождавшись ни от кого помощи, приходилось самой взбираться на табурет, чтобы запереть форточку на маленький, измазанный масляной краской крючок.

При свечах и говорить хочется потише, и думать. Задорным сиянием, вкупе с острым, обложенным жемчужным налётом голубым язычком, они умеют расположить к себе, отрекомендовать в лучшем свете, обратить внимание на нечто особенное, а при нужде, – растушевывать до тени то, что плоше. К чему и придраться бы, да недосуг.

– Пусть, как бы его и нет?.. – Предлагает сговорчивый огонёк, и ты соглашаешься с радостью, а пламя свечи глядит пристально, покачивает задумчиво светлой головкой, так что слышно мерное, сердечное его биение. Случайный смех, громкий вздох, – всё

приводит его в замешательство, и приходится ждать, покуда придёт в себя и успокоится.

– Неужели нельзя посидеть смирно?! – Одёргивает нас бабушка. – Спички надо беречь!

Пристыженные, мы замираем. Хотя, вот – книги. Они же тихо стоят, не шелохнутся даже, но при свете рыжего пламени зовут к себе, столь отчётливо перемигиваясь корешками, что рука сама тянется сдвинуть стекло, ухватиться за уголок томика…

– Ну, и куда ты?! Глаза испортишь! Поставь на место сию же минуту! – Требует бабушка.

Дабы утолить хотя отчасти томление внезапной неловкости, тётушка принимается с выражением читать что-то наизусть. Это, без сомнения, мило с её стороны, но – не то. Хочется своими глазами ощупывать каждую строчку, как дорогу ногами в темноте. Представлять – каково оно, отыскивая нужные слова, греть их у сердца, и выпускать после, как птиц, на волю страниц.

Привыкая к тому, как гроза беснуется за стенами дома, мы по очереди идём поглядеть, но нас неизменно усаживают, опасаясь, что будет, «как в тот раз», когда градина разбила стекло и, разрезав занавеску, застряла в ноге сестры чуть ниже колена.

В конце концов, дождь когда-нибудь утихал, и, если раскатов грома не слышалось уже некоторое время, можно было щёлкнуть электрическим выключателем, отдёрнуть шторы, впрочем, так и не потушив при этом свечу.

Немного погодя, глаза привыкали к свету, но не переставали глядеться беспомощными, как у тех очкариков, которые вынуждены время от времени снимать очки, чтобы протереть их. Оглядываясь на родственников, ощущалось некоторое стеснение, так что некоторое время приходилось избегать взглядов друг на дружку. Столь невеликий круг, который очерчивала подле себя свеча, заставлял нас быть ближе, чем всегда, невольно разрушал границы, вне которых мы чувствовали себя ранимыми, уязвимыми, незащищёнными.

Чтобы вернуть себе себя обыкновенных, без искры от свечи в глазах, – надобилось некоторое отчуждение, обособленность… Да, полно! Было ли оно нам нужно, в самом деле!?! Если бы это было так, каждый раз, лишь только очередная гроза направлялась к порогу дома, вряд ли бы мы так охотно теснились к приспособленной под подсвечник старой чернильнице.

Иногда случалось, что, в самый неподходящий трогательный момент, кто-то из соседей стучался в двери с криками «горим», и

мы все вместе выбегали во двор, чтобы поглазеть.

– Снова? – Спрашивали одни соседи других.

– Опять! – Смеялись те в ответ.

В грозу крыша, как обычно, горела подле громоотвода. Делала она это столь неубедительно, что пожарные, которые приезжали, чтобы потушить её, ворчали на собравшихся у подъездов жильцов:

– Ну, что вы тут не видели! А вызвали зачем!? Вон, ливень какой! Затушило бы само! Небось, не впервой.

Мужчины при сих словах сопели важно, а возмущённые женщины принимались так кричать, что один из пожарных плевал себе под ноги, залихватски кряхтел, накидывая на голову золотую каску, цеплял карабин брандспойта к поясу и грузно, весомо поднимался по пожарной лестнице на крышу. Для таких случаев на доме имелась своя собственная лестница. Плохо закреплённая к стене, она трепыхалась при каждом шаге пожарного, вызывая сильные охи слабого пола и отбивая от стены лепестки жёлтой штукатурки.

Поволновавшись ещё некоторое время, жильцы выносили пожарным «попить и пирожка», а затем дружно махали им вслед, да долго ещё не расходились по квартирам, но, разглядывая сиренево-чёрный синяк небосвода, гадали – будет ли ещё гроза, или уже всё.

Гроза. Не знаю, как вы, а я радуюсь ей каждый раз. Жаль, что нынче никто уж не ждёт и не боится грозы так, как ждали и боялись её мы…

Митрич

Достаточно ли просто знать,
что важный тебе человек живёт где-то,
и у него всё хорошо,
или его непременно надо видеть
каждый день рядом с собой?

– Ты знаешь, я так хочу играть в театре, что готова жить где-нибудь там, под любой из его лестниц, между декорациями. Только бы играть.

– Зачем тебе это?

– В судьбах многих людей столько чувств, но слишком мало времени дано на удел одному человеку. Мне нужно… понимаешь ты! – нужно прожить их все.

– Ну, все-то не получиться.

– Тогда, – как можно больше!

– Ты такая славная, и такая наивная.

– Тебе хотелось сказать, что я глупая. Ну и пусть!

– Они сломают тебя! Ты не представляешь, что такое театр!

– И что же?!

– Это большая банка со змеями…

– Наверное. Может быть. Не уверена. Змеи водятся не только там.

– То в теории, а на практике… Знаем мы, видели, приходилось.

Митрич… Милый славный доктор, с небольшими мягкими крепкими руками хирурга и беззащитной улыбкой. Ты хотел вылечить всех, не мог отказать в помощи никому. Но где были мы все, когда она понадобилась тебе?

При виде заспанных синиц на заре, мне постоянно вспоминается Митрич. По утрам он был также взъерошен, как они. Мягкий неприглаженный хохолок волос, по-детски чистый искренний взгляд, не сошедший ещё след тёплых пальцев с правой щеки. Было похоже, что вечером он укладывает лицо на сложенные вместе руки, да так и спит, не ворочаясь, пока стрекот поселившегося в будильнике кузнечика не разбудит его.

– Митрич! У меня завтра экзамен, а я никак не могу запомнить названия всех этих костей.

– Приходи после обеда, – предлагает доктор. – Разберёмся!

До самой ночи, терпеливо и настойчиво он зубрит со мной латынь по модели человеческого скелета, от ос феморис [72] до горошинки[73].

Вечером следующего дня врываюсь в кабинет Митрича, потрясая зачёткой. Он занят, но чтобы показать, как гордится мной, вкрадчиво сообщает пациенту о том, что ему нужно ненадолго отлучиться, но доктор, и тут он указывает на меня, заменит его на это время.

– Я?! Меня?!! Меня назвали доктором!!! – Чуть не кричу я, но сдерживаюсь, и трясущимися руками продолжаю начатое настоящим врачом.

Невысокий, худенький, в плохо выглаженной белой рубашке и мятом халате, он был столь щедр на любовь к людям, что неизменно вызывал к себе доверие. То самое, которое называют безграничным, беспредельным, бескрайним – именовать его можно по-разному, но суть всего одна: в руки такому человеку можно вручить ответственность за свою жизнь. Впрочем, Митрич и сам верил в людей, но, как оказалось, напрасно. Третья жена, родив от него малышку, поселилась в необъятной квартире доктора, доставшейся от покойных родителей, а самого выгнала на улицу.

– Я заимела красивого здорового ребёнка и жилплощадь, больше мне от тебя ничего не нужно! – Открыто завила женщина однажды, и захлопнула дверь перед его носом.

Митрич был не в состоянии принять случившееся. Совершенно растерянным, он ходил по городу, пытаясь поскорее растратить своё недоумение, а, когда не было уже сил идти, присаживался на скамейку, растирая лицо руками, в надежде, что наваждение рассеется, и всё это лишь дурной сон.

«Конечно, что за глупости?! Мне привиделось! Такого просто не может быть! Это какой-то… театр абсурда![74]» – убеждал себя Митрич, и вновь шёл к родному дому, чтобы постучаться в дверь квартиры, которую, – а как иначе! – непременно откроют.

– Кто-то пришёл? Папа?! – Расслышав за дверью голосок любимой дочурки, Митрич улыбался счастливо, но после, едва раздавались слова жены, он понимал, что всё происходит наяву:

– Нет, тебе показалось, иди поиграй.

Некоторое время Митрич был рад возможности разглядеть с тротуара лицо жены или дочери в окне. Когда-то давно, он спутал

самодовольство в её глазах с направленным на него обожанием, а эгоизм с любовью. Позволь она теперь жить рядом, он определённо простил бы её, ради одной лишь милости, – наблюдать, как растёт дочь, слышать волшебное «папа» и ощущать тепло детской ладошки в своей руке.

Совсем скоро Митрича не стало. Если бы можно было верно указать причину, то в справке о смерти было бы написано: «умер от горя».

Длинные, похожие на ворсинки грубой шерсти, полосы дождя на стекле. Они не успевают растечься, леденея на лету. Так слёзы примерзают к стынущему от тоски сердцу, мешая ему биться спокойно.

– Театр – это большая банка со змеями.
– Змеи водятся не только там, поверь мне, хотя бы теперь…

К чему бы это…

Я зашёл в воду по пояс, оттолкнулся ногами ото дна и поплыл. На мне был полосатый купальный костюм до колен и тряпичная шапка на завязках, что надевалась из одного только приличия, но мешалась, сбивалась на сторону, и в конце концов висела уж у меня под подбородком, как детский нагрудник. В него набирались кусочки водорослей, небольшие, чуть больше грецкого ореха, крепкие, похожие на шампиньоны медузы и даже, вероятно она заплыла из одного лишь любопытства, – перламутровая килька с озорными пуговками глаз. Рыбка фамильярно пощекотала мне шею и юркнула змейкой в привычную ей, слегка пересоленную, на мой вкус, среду. Морская вода казалась не тёплой, а скорее горячей, как в купальне. От неё шёл нехороший влажный банный пар, так что вскоре я почувствовал неудобство, хотелось вдохнуть глубже, но, сколь ни пытался сделать это, не удавалось никак. Было трудно понять, отчего оно так, пока очередным резким движением я не сдёрнул одеяло со своей головы и не проснулся.

За окном, под пыльным колпаком снегопада теплился рассвет.

Снег, расшвыряв свои вещи, присел, расплакался, продрог. Измученный и изумлённый нервностью февраля, он испытывал на себе то неловкие душевные порывы метели, то чувствительность зимнего студёного дождя.

Сугробы, что намело загодя, стАяли, заледенели, промокли… И в новой, закалённой уже со всех сторон горсти снега, воробьи наделали мышиных ходов, только шире, просторнее, – с арками, горками, накрытыми столами позавчерашних зёрен и стираными циновками, сохранившейся от прошлого года, травы.

Поджидая гостей, воробьи со тщанием выметали метёлками хвостов осколки разбитого в крошку ледяного хрусталя. Поползень, приглашённый одним из первых, важничал и драл кверху свой курносый нос. Большая синица, что тоже была приглашена, проспала, но, удачно совмещая в себе рачительность и неистребимое желание поживиться за чужой счёт, она устроила себе тёплый дом в ветвях туи неподалёку, и её опоздание вполне могло сойти за деликатность.

Как только воробьи сообщили о том, что всё готово, серые от копоти малые синицы немедля спустились из-под крыши и, юркнули в приготовленные покои. Пока гости шумно хвалили хозяев, снег снова принялся за своё. Он кружился в неизменном

вальсе, изредка меняя ногу. И это было похоже на то, как если бы некто без устали встряхивал сосуд дня, чтобы добиться от него того сливочного вкуса, который, застывая на губах памяти, ощущается после годами:

– А ведь был, был, был он, тот восхитительный и прекрасный день…

Так, как будто бы не было иных, не менее чудесных. Но тут уж – кто как умеет себя подать.

Я зашёл в воду по пояс, оттолкнулся ногами ото дна и поплыл. Опять этот сон… И к чему бы это он?

Подсказка

– Василевский – к доске! – Замерший было класс с облегчением выдохнул, началось шевеление, а я взмыл к кафедре, не чуя под собой скрипа половиц, и, невежливо повернувшись спиной к глянцевому полотнищу доски, приготовился отвечать.

Мне не повезло, в нашем классе не было ни одного ученика ни на первую букву алфавита, ни на вторую, так что, когда начиналась проверка домашнего задания, то вызывали именно меня. Ну никакого воображения у педагогов, честное благородное слово! Вместо того, чтобы ткнуть пальцем в фамилию любого из сорока двух человек, они всегда выбирали верхнюю строчку списка.

– Так, ну и что вы нам можете рассказать про синиц? – Поинтересовался учитель, и, прикрывшись классным журналом, принялся разминать гримасами затёкшее за день лицо. Некоторое время я собирался с мыслями, прикидывая, с чего начать, но, едва открыл рот, как Наташке, с которой жили в одном доме, вздумалось вдруг, ни с того не с сего, подсказывать мне. Навалившись на парту животом, Наташка вытянула шею, и, свесив её, как черепаха из панциря, громко, на весь класс зашептала:

– Синицы – царство животных, класс птиц, отряд воробьинообразных…

Глядя на Наташку злыми глазами, я чуть было не добавил, что она пропустила про тип, к которому принадлежат[75] синицы, но моментально захлопнул рот, ибо не мог допустить, чтобы кто-то из присутствующих, в том числе учитель, мог заподозрить меня в том, что говорю с чужих слов, а не сам.

Одноклассники хихикали над Наташкой, преподаватель, по-птичьи наклонив голову, с изумлением наблюдал за её стараниями, а я молчал. Мне было совершенно всё равно, что получу – «единицу» или «двойку». Репутация неглупого человека, имеющего своё собственное мнение обо всём, была для меня куда важнее.

– Ну-с, молодой человек! – Обратился, наконец, ко мне учитель. – Не знакомы с материалом?

– Знакомы. – Грубовато ответил я.

– Так почему же молчите? – Удивился педагог.

– А вон. – Кивнул я на Наташку.

– Ну, так спорьте с нею! – Лукаво предложил учитель.

– Не стану. – Всё так же неучтиво ответил я, и тут, на моё счастье, прозвенел звонок.

Биология была последним уроком, и, вцепившись в портфель, я побежал домой. Снег и солнце празднично украсили нашу, ничем не примечательную, обычную улицу. Ветер, словно прилежный дворник, сметая сугробы то влево, то вправо, не мог никак решить, с которой стороны они смотрятся опрятнее. Из-за этого скоро сделалось довольно холодно, и я заспешил. У синичек под кормушкой на моём подоконнике были кое-какие запасы, но я не был уверен, что их хватит до моего возвращения.

Ещё издали я увидел, как топчутся на месте птицы, как, напрасно пытаясь согреться, приподнимают они свои пёрышки, мешая морозу пробраться за воротник. Когда же, на ходу вытаскивая из кармана ключи, я уронил их, голодные синички заметили меня, и вылетели навстречу:

– До-ма! До-ма! До-ма! – Кричали одни.

– По-ско-рей! По-ско-рей! – Просили другие.

Насыпав доверху семечек в кормушку, да ещё одну небольшую горку прямо так, на подоконник, я стоял и смотрел на синиц. Птицы ели, не как обычно, по кусочку, ухватив лапкой, но глотали зёрнышки целиком. Им становилось теплее, а мне почему-то хотелось плакать. Холодные, сверкающие нити снежной паутины, весьма кстати таяли у меня на щеках, так что со стороны можно было и не разобрать, что я реву…

– Синицы, эукариоты царства животных, тип хордовых, класс птиц, отряд воробьинообразных, семейства синицевые, рода синиц, латинское название Parus major…

Место, где живут люди…

Заложив серебряный пятачок луны за бархатный манжет сумерек, день порешил этот вечер провести в одиночестве. Ему наскучила бессмысленная, как ему казалось, толчея птиц, излишняя торопливость людей, что, ненадолго выйдя за ворота, выдыхая паром, скоро шагали по рельсам тропинок, подобно тепловозам, да и вообще, – охотнее сидели дома, разогревая паровые котлы в домах до крайности, но так никогда и не трогались с места. А уж про обитателей леса об эту пору, можно было и вовсе не вспоминать. Устраивая лёжки под кустами, в снегу, обитым войлоком собственной шерсти, они старались по-хозяйски распорядиться силами, и дремали, положенное им время. Так делали почти все, кроме некой одинокой косули. Её неопытность могла быть причиной того, что, вместо бережливых трат накопленного в летнюю пору тепло, она бродила по лесу взад и вперёд, сама не понимая, зачем делает это.

– Дюжина часов на ногах – и то много, – сплетничали про косулю белки. – Но она-то топчется по сугробам и день, и ночь. Куда это годится? – Притворно сокрушались они, хотя, в самом деле, им было совершенно всё равно, что там с косулей и почему именно так. Нижние этажи лесной чащи, особенно зимой, мало заботили их.

А лесная козочка и впрямь была юна и голодна, который уж день.

После того, как летом ей почти удалось ускользнуть от симпатичного юноши с крепкими рожками и заметно тяжёлым кожаным воротником[76], который гонялся за ней по кустам, она отбилась от сестёр, заплутала и гуляла теперь по лесу совершенно одна.

Остаток лета и начало осени прошли незаметно. Косуля кушала подсохшие ягоды, щавель и кровохлёбку, хрустела желудями, обкусывала тонкие веточки ивы, лакомилась грибами. Одиночество не пугало козочку, она был любопытна, как все девчонки, и подсматривала за тем, как живут ежи и лягушки, мыши и змеи, жуки и бабочки. К тому же, единственный двор полустанка, возле которого она жила, охранял пёс. По ночам он выходил размять лапы, и непременно навещал косулю. Они бегали взапуски до самой речки. Пока собака купалась, косуля, отогнав чрезмерно любознательную рыбёшку, пила, а после они с псом, всё также бегом, возвращались обратно, и дремали бок о бок до рассвета за сараями.

Косуля не отходила далеко от человеческого жилья, возле которого можно было отыскать то, что не растёт в лесу: стрелки зелёного лука, липнущие к носу ладошки капусты и солёные кусочки хлеба. Те появлялись иногда в листве у тропинки, только вот она никак не могла понять, из какой именно травы они растут.

Пёс прибегал к косуле и осенью, и зимой, а если,случалось, вечером его занимали чем-либо по хозяйству, сильно скучал по козочке. Однажды, это было уже когда день стал много заметнее ночи, именно пёс первым разобрал едва слышимое, постороннее шевеление в её животе. Козочка к тому времени и сама уже понимала, что с нею происходит нечто странное. Сперва она подумала, что, может, неосторожно покушала чего-то несвежего, а потом… Началась метель и ей не пришло в голову ничего лучшего, как решиться походить подольше, в надежде, что беспокоившее её в животе нечто рассосётся само собой[77].

Не привыкшая ни с кем церемониться, метель вовлекала в танцы каждого, кто встречался ей на пути. Кружилась подле дубов, пытаясь раскачать этих добродушных увальней, трясла плечами в цыганочке перед увешанной бусами рябины, а, уколов палец о хмурую неразговорчивою сосну, взвыла от боли обиженно и тихонько, да отступила назад, к более покладистым лиственным, оставив в сжатом кулаке сосны снежные пряди и локоны. Пробегая мимо косули, метель старалась не задеть её никак, ибо весь вид небольшой лесной козочки говорил о том, что той теперь вовсе не до танцев. Второе сутки она брела по сугробам, едва переставляя ноги. Снег перед глазами давно уж окрасился в розовый цвет, в животе было горячо от голода, а козочка всё никак не решалась поесть хотя чего-нибудь и лечь спать. Когда косуле очень захотелось пить, она попыталась слизать сосульки, намёрзшие с края обломанного ствола, но так ослабла, что не смогла дотянуться даже до самой нижней из них. О том, что можно попить, просто прожевав горсточку снега, она совершенно позабыла.

– Ты видел, косуля во дворе?

– Да, с ночи ходит кругами вокруг вишен.

– Молоденькая. Беременная.

– Откуда ты знаешь?

– Да… так. Я всё думаю, как бы выйти, покормить, – вон, её солёные сухарики, в ведре.

– Ну и сходи!

– А испугается, побежит, поломает себе что-нибудь.

– Ну, давай, пойдём вместе. Одеяло возьми, накинем сверху.

Косуля, наконец, устала двигаться и остановилась, будто бы кончился завод, раскрутилась до конца пружинка её решимости. Прямо перед собой косуля увидела низко висящую ветку вишни с россыпью почек, и хотела было уже откусить самый кончик, но вспомнила, как было вкусно летом жевать чёрные сладкие ягоды, и пожалела деревце. Козочка вздохнула, моргнула сонно, и внезапно ощутила на спине что-то тёплое, оно накрыло её, как нагретый дыханием сугроб. Почти сразу же ей почудился запах солёных корочек. «О… Может быть, они растут как раз тут, под снегом?» – Подумала косуля, и втянула носом аромат хлеба с солью. Козочка сама не поняла, как это вышло, но вкусный кусочек вдруг оказался у неё во рту, потом ещё один, и ещё.

– Не давай много, вредно. – Просили женским голосом у неё над головой.

– Да, жалко же её… – Тут же, рядом, отвечали мужским.

У лесной козочки не было сил тревожиться, она стояла, передоверив заботу о себе хозяевам пса, а её радетельный друг находился всё это время рядом, и виляя хвостом от самых лопаток, обтирал с подбородка густые снежные капли, заодно со слезами, стекающими по мягким щекам косули.

…Изящное колечко месяца с россыпью мелких бриллиантов, позабытое кем-то на скатерти сумерек, столь ярко сверкало, что были видны вмятины от крохотных набоек сапог синиц на обитом бархатом инея подоконнике, и ровный ряд следов на снегу, похожий на цепочку маленьких жемчужных сердец, соединивший лес с местом, где живут люди.

М-да… В самом деле, а вы как думаете? Много ли таких… мест?..

Небо

Рассвет с нежностью взирал на утреннее небо. Всклокоченные русые кудри облаков придавали ему очарование, которое никогда нейдёт впрок. Им можно было сколь угодно долго восхищаться, но повторить, скопировать, срисовать или даже напомнить, как выглядело оно, хотя бы немного, не удавалось ещё никому. К каждой подобной попытке сделать это, неизбежно примешивалось дыхание старателя[78], его невольное желание передать томление собственного сердца.

Взирая на поползновения, робкие или отчаянные, небо трепало всякого такого по щеке, ровно дитя, и шептало на ушко:

– Так это же ты… Ты, сам… не я.

Трудно. Невозможно почти постичь небо таким, каким оно кажет себя теперь, и в одну только минуту, за единый взмах ресниц делается немного иным. Склоняя главу и так, и эдак, надеемся на памятливость, вольно или невольно переиначиваем то, что не требует того.

Примеривая к себе всё округ, кроим мир по доступным нам контурам, кривым правилам разного вида[79], но замечаем лишь то небо, что можем понять, с которым сумеем смириться.

Оно же, не изменяя себе, – одно и тоже, всегда и для всех.

Неужто так сложно постигнуть это, простое? Дорасти до него, объять… Сможется ли?.. А дОлжно ли? Или просто – согласиться с тем, что оно именно таково. Всё на виду, без прикрас и утаённой злобы, прозрачно, откровенно, светло, а если и хмурится когда, то сердито на одного себя.

…Рассвет взирал на утреннее небо с нежностью…

Тот, кому нечего терять

Густой, жаркий, каким обыкновенно и бывает летний полдень, щурился от солнца, разглядывая пологую полянку на берегу реки с привязанным ко вбитому в землю колышку тёлышем. Мы с сыном стоим и следим за тем, как сочная травинка, прильнув к липкому носу, дразнит малыша, юлит, избегая шороха языка, а телёнок, чуя медовый сладкий запах, волнуется, крутится на месте, словно упавшая на спину божья коровка, но слизнуть листочек не выходит никак.

Вокруг под ногами – целое море точно такой же травы, не менее сладкой и сочной, а вот захотелось ему именно этой, заветрившейся уже от горячего дыхания дня. Изрядно притомившись, телёнок оставил травинку и принялся пережёвывать припасённую загодя жвачку. Временами он грустно, протяжно стонет: «М-му, м-ма…»

– Мама, можно я ему помогу? – Спрашивает сынишка.

– Помоги. – Разрешаю я. – Только это не мальчик, а девочка, она.

Сыну нет и четырёх лет, но он смело направляется к тому, кто раз в пять крупнее его. Малыш заботливо расчёсывает тёлочке пятернёй чуб, снимает приклеившуюся к носу травинку и подаёт ей. Та радуется, тянется к ребёнку, нюхает выгоревшую макушку и принимается вылизывать её. Она пахнет солнцем, речной водой, счастьем… мамой! Сын смущается, ему немного щекотно, да и волосы скоро делаются влажными, но отстраниться от телёнка он не решается. Ему очевидно кажется, что если сейчас отойдёт, то это будет равносильно тому, как толкнуть рыдающего в песочнице малыша.

Из ближнего к речке двора показалась женщина с ведром, и ещё издали кричит:

– О-ох… Заморочит она голову дитёнку-то!

– Да нет, что вы, всё хорошо, – Хором выгораживаем тёлочку мы.

Женщина подходит, здоровается поближе и начинает жаловаться:

– Корову-то зарезать пришлось, старая была, недоглядела я, – загуляла она, а разродиться сама не смогла. Вот и тянется теперь теля ко всякому, мамку ищет. – Вздыхает женщина и ставит перед тёлочкой ведро с молоком. – Ей уж пятый месяц, можно бы уж и не поить, а мы всё на ферме покупаем, балуем.

Будто понимая, о чём речь, тёлочка взбивает выдохом белую пенку и, неумело шевеля хвостом, дабы отогнать от себя слепней, едва ли не всхлипывая, принимается пить. Нет рядом мамки, и чем пахнет её тёплый, родной бок, уже и не вспомнить.

Наблюдая за тем, как телёнок, прикрыв глаза, медленно пьёт из ведра, нас посещает отчётливое видение немолодой коровы с отломанным рогом, некрепкой уже, проваленной спиной, костлявым крупом и полным выменем в ажурной корзинке из нежно-голубых ручейков вен под тонкой чистой кожей. Люди, те, что постарше, умело скрывают слёзы, а маленький мальчик с мокрой зализанной макушкой, гладит тёлочку промеж ушей, роняя солёные капли из глаз прямо в молоко.

В тот же час, за рекой, на огне закатного солнца плавится лес. Сухие, озябшие от участия стволы тают и стекаются к оранжевому озеру уходящего дня, в котором волны горя и радости вздымаются, разбиваясь одна о другую.

Не умеющий понять чужих страданий, не способен познать счастье. Как тот, кому нечего терять, вроде бы и не жил.

«…время всякой вещи…»

80

Утро стыдливо скрывало своё неумытое лицо за сотканным из прозрачного папируса рассвета опахалом кроны зимнего леса. Расшалившись, ветер отогнул его уголок, да рассмеялся так, что посыпались излишки снежной пудры с нежных его щёк, а вместе с ними попадали и кусочки персиковых румян солнца. Пара лёгких воздушных движений пуховки облаков, – так, из жалости или намерения помочь, и день сразу невзрачен, бледен, даже как бы немного нездоров. Скрипят коленки стволов, мелкие веточки сотрясает кашель так, что даже осыпаются семена почек, лишая скорую весну части листьев и цветов.

Смущённый собственным нерадением, день мрачнел всё больше, не замечая матримониальных приготовлений синиц, поползней, воронов и белок, коим последняя декада зимы казалась не стоящей внимания безделицей. В их судьбах уже во всю бушевали шторма весенних соков. Полные чаяний новой судьбы, они не принимали всерьёз неурядицы той, что проживали теперь, но были уже все в грядущем, которое сулило избавление от прежних ошибок случайностей, где всему определено своё место, где правильное подчинено правилам, а плохое – лишь объяснимое возмездие за неповиновение им…

Угадав настроение дня, вечер довольно скоро перенял бразды правления в свои руки, и всё пошло, как нельзя лучше. Ибо, если серость дня приводила в исступление, то бессодержательность сумерек, напротив, умиротворяла, невольно указуя на то, что – «Всему своё время[81]», и не пристало дню ровняться с ночью, потому, как у каждого свой черёд.

– Но утро, – вспомянет, либо позабудет оно прошлый урок?..
– Да было бы оно, а там поглядим.

Некто

Ровным полукруглым куском незрелого сыра, луна обветривалась на звёздном сквозняке. Ей было немного неловко предстать на люди в подобном, определённо ущербном виде, хотя, некоторых прельщало именно это, нынешнее её состояние. Оно будило фантазии, увлекало и манило…

– Ну, коли так, – Вздыхала луна, – так и быть, потерплю до полнолуния, а пока… тешатся пусть.

Взирая на лунный огрызок, Некто предвкушал приятная глазу картина весенних велюровых полей, местами укрытых взбитыми сливками облаков, и заодно развлекал себя стойкими пиками сбитых на сторону завитков мыслей. Все они были о том, что преступно тратить себя вне призвания. Каждый рождённый, наделён особым даром, у всякого – свой талан[82], и прописанное в Библии указание о нетерпимости к бесполезному его сокрытию в недрах земной коры… Как возможно манкировать сим?!

Некто был весьма усерден и скор в мыслях, но нетороплив в делах. Несмотря на это, даже ему казалось очевидным отличие человека от прочих живых и одушевлённых. А состоит оно в том, что птица, лягушка или зверь, – наперёд знают свою судьбу[83], но человек, испробовав себя во многом, должен верно угадать зовущий из глубин голос, призывающий на предначертанный ему путь. Ошибиться никак нельзя, иначе – напрасно всё: томления надежд, дерзновения, само появление на свет, – сей неоценимый, обесцененный нерадением дар.

Довольный собой, по обыкновению утомлённый бездельем, Некто крепко спал, а Большая Медведица, выплеснув из ковша взбитый сливочный ком луны, вновь собирала молоко по малым каплям звёзд. Ей было некогда рассуждать зачем живёт и почему.

Иметь право выбора и умение распорядиться им. Первое – счастье, а второе – большой, человеческий труд.

Корова Конструктор

На что только не обменивало человечество плоды своего труда. Также, как птицы, которые, желая расположить к себе, преподносят друг другу травинки, яркие цветы и золотистые локоны соломы, люди обменивались ракушками, камешками, перьями и золотыми самородками. Едва ли в память о причудах пернатых, но конец двадцатого века был-таки примечателен частичным низвержением товарно-денежных отношений, в угоду натуральному обмену. К примеру, работницам швейных фабрик заработную плату выдавали зимними рейтузами со штрипками и без, а каждый трудящийся шинного завода в день получки катил домой по колесу. Предприимчивые граждане выстраивали длинные цепочки взаимовыгодного обмена ненужного им товара на жизненно необходимые другим, и уже вскоре никого не удивлял обмен трёх колёс на два мешка муки с пятью фунтами зелёного кофе в придачу. За приличную кофту можно было получить два фунта «Краковской», а за неприличную и все три.

Впрочем, на арену мены были допущены лишь собственно работающие или убеждённые тунеядцы. Тем же, которые упорно пытались найти нуждающихся в их интеллектуальной и физической силе, оставалось надеяться на благодушие руководства любого из заводов, коим, в силу заполненных до перекрытия крыши складов, приходилось делиться излишками с ожидающими свободных рабочих мест в бюро по трудоустройству. Попали в это когорту страждущих и мы.

Раз в неделю являясь под светлые очи служащего, дабы подтвердить своё намерение работать, не за страх, но за совесть и не жалея живота своего, мы встречали его сочувствующий взгляд. Спустя некоторое время оказалось, что денежное довольство нам было заменено на… Поглядев на маленького сына, служащий улыбнулся и сообщил, что, вместо денег, нам выдадут игрушки, а именно – конструктор, и вручил документ, который подлежало обменять на обещанный товар. Спорить было бесполезно, поэтому, подтянув повыше спадающие брюки, мы направились в магазин. Естественно, пешком.

Через пару часов, по суматохе на практически пустом месте впереди, стало понятно, что цель нашей нелёгкой прогулки уже близка. Граждане обоего пола и трудоспособного возраста активно выносили из дверей магазина разнообразную, не поддающуюся описанию утварь. С трудом добравшись до подозрительно пустой витрины, мы протянули барышне за прилавком документ. Приняв его от нас, продавщица некоторое

время молчала, словно привыкая к виду бумажки, и явно не позволяя негодованию покинуть её ярко накрашенный рот. Нынешнее положение вещей, когда товар приходилось отпускать по неким документам с печатью, не имеющим ничего общего с денежными знаками, к которым она привыкла за годы работы в торговле, не мог её не раздражать.

– Нам… – Я улыбнулся сынишке, – Нам конструктор, пожалуйста.

Недовольно вздохнув, барышня скрылась в подсобке. После недолгого отсутствия, она вышла с длинным рулоном ковра наперевес. Уронив его на прилавок, как бревно, продавщица достала из кармана резиновую корову и кинула рядом с ковром:

– Вот!

– Что это?! – Спросили мы.

– Ваше! – переводя дух сообщила барышня.

– Но нам сказали…

– Это всё, что осталось, – развела руками она.

Идти до дома было далеко. Я сгибался под тяжестью ковра, а сынишка всю дорогу вертел в руках корову и, нежно растягивая букву «у», называл её по имени:

– Конструктор! Конструктор!

Ковёр, прекрасный толстый шерстяной ковёр, по сию пору бережёт уши и нервы соседей снизу, покрывая пол в нашей гостиной, а корова… Она навсегда осталась трогательным напоминанием о том чудесном даре новой жизни, о детстве, в котором волшебно всё, и у любой коровы могут быть самые прихотливые имена.

Вредное молоко

Моей маме…

Маме, на заводе, где она работала, выдавали молоко. За вредность. Стакан в смену, а вернее, – полулитровую стеклянную бутылку каждые два дня.

Я гордился маминой работой. На работе она занималась полуфабрикатами, но не замороженными пельменями или котлетами. Это были нарезанные тонкими кружочками монокристаллы кремния. Вследствие противоречивости свойств[84], его можно было использовать для нанесения микросхем[85] и прочих нужд звёздной[86] отрасли. Но для того, чтобы эти пластинки работали так, как надо, их поверхность должна была быть безупречной. И вот, моя мама как раз и занимались тем, что отыскивала среди сотен десятков пластин те, которые не были достойны носить на себе ничего важнее пыли. Мама мало рассказывала о том, чем занята на заводе, но иногда с её уст слетало такое словосочетание, как «вакуумная гигиена», которое пугало обилием гласных, но совершенно определённо давало понять, что ни о какой пыли на рабочем месте не могло быть и речи. Так же, вскользь, мама иногда спрашивала, знаю ли я, как надо действовать в том случае, если мне представится смешивать воду с кислотой. Что я стану делать, – налью воду в кислоту или наоборот, и была довольна, если я, не раздумывая, склонялся ко второму варианту.

По причине ли тщания и чрезмерной ответственности, с которыми мама относилась к работе, то ли из-за привычки быть скрупулёзной и внимательной, за что бы ни бралась, но ко мне она была столь же строга, как и к пластинкам кремния. От меня требовалось блюсти чистоту всего: ушей, комнаты, репутации, поступков и помыслов. Но… кто из нас безгрешен?

Мама была постоянно недовольна мной. Я поджидал её возвращения с работы, полный двоякого чувства любви и страха, ибо понимал, что никогда не смогу угодить, как бы ни старался. Заходя в дом, мама доставала из сумки бутылку с молоком, закупоренную крышечкой из белой фольги, и, оглядывая немытый пол или посуду, принималась меня отчитывать. Я же, пропуская мимо ушей все её «сколько раз тебе говорить…», наливал молоко в чашку и жадно, не отрываясь, пил. Бывало, что летом, после жаркой толчеи трамвая, в котором мама ехала домой, молоко было с едва заметной перчинкой кислоты, но это, впрочем, никак

не портило его. Если бы мама разрешала, я бы не пачкал посуду, а пил прямо из бутылки, но, под её строгим взглядом, был вынужден переливать молоко в чашку.

И так, не выпитый мамой стакан молока, который должен был защитить её от вредного влияния паров серной[87] и плавиковой[88] кислот, с завидным постоянством доставался мне. Женщины, что работали с мамой бок о бок, пеняли ей этим, и выпивали за обедом положенное сами… Честно говоря, это не очень-то помогло, и мало кто из них покинул сей бренный мир здоровым. А что касается меня… Я помню каждую каплю этого «вредного» молока, его едва заметный голубоватый цвет, и мамин, блекнущий с годами, бирюзовый взгляд. В то время, пока я пил, она смотрела на меня, как на убогого, – жалея и любя, любя и жалея. Молоко от того казалось вкуснее стократ. И.… после, я не находил такого больше никогда, как не искал.

…

…На губах весны

Рассвет – неряха и сластёна, – набросал повсюду кусочков розовой пастилы и белого зефира, пролил целое облако малинового варенья, так и не донеся до рта, а у самого горизонта обронил, расписанное деревами, полное блюдо вишнево-лимонного мармелада. Сквозь него видно на просвет золотистые снопы солнечных лучей… Рассвет прибыл только что с очередного свадебного застолья, коих много в конце зимы, и столько раз кричал «Горько!», что охрип, а теперь, кажется, доволен уже возможности помолчать, предоставив слово влюблённым воронам да синицам, косулям да белкам.

Влюблённость – это боль, напряжение от стеснения собственного я, дабы дать место рядом с собой кому-то ещё, – так непросто вселить две души в одну. Это квинтэссенция[89] – сотен жизней и любовей, глотОк припасённого Проведением зелья, испытание, требующее душевных сил, как любое какое-нибудь неукротимое явление. Расплескав часть из кипящей чаши сего чувства, оно теряется скоро…

Любовь – иное, это то «приглУбое[90] приморское место, закрытое от ветров»[91], в коем одном можно укрыться, наконец, от бурь и штормов влюблённости. Всё чужое идёт здесь ко дну, не добрав до песчаного берега, с которого видны карманы горизонта, куда день складывает свои золотые. Любовь – испытание и награда, – вот прямо так, сама по себе. Она – случай, и приживается далеко не всегда, не везде. Ровно так, как существуют неплодородные земли, бывают неплодородные души и сердца.

Ожидающий любви, не утолит своих порывов до той поры, пока не решится сменить тщетность суеты на дело, которое заставит говорить об нём. Впрочем, не ради него самого.

Обрезанная пригорком колея – уже не те нервные линии дороги, стремящиеся к единению в недостижной[92] безграничности, но словно осторожный надкус. Как если бы кто отважился проведать, лакомо ли оно, да после рассудил, как ему быть, – не останавливаясь идти вперёд, а то и повернуть назад когда-либо?.. Обломанные ветки понавдоль пути, – огрызены они косулей брежно[93] или оставлены так для опознания, дабы не сбиться, в другой раз, – не всё ли равно? Любой путь хорош и сам по себе.

Повалившись навзничь, присыпанная снежком осина, как

стёртые кружением колёс рельсы, сияют подлунно. Лещина, из досады красе сестры[94], вся в нелепых рюшах лишайника, цвета увядшего салата. И сыплет с неё лишек[95] на дорогу, оленям под ноги, а те подбирают мягкими губами с ветшающей, истёртой мягкой пяткой оттепели салфетки сугроба, жуют недолго, роняя крошки.

Заледенелые комочки снега на ветвях, будто бы серые жемчужины вербы. И рано бы им ещё, а радуют, как бы это и в самом деле уже они, – первые капли молока на губах весны.

Стужа

От мороза побелело всё: щёки сугробов, просветы просек и само небо. Об эту пору, каждый вдох делается колюч, сердца звенят, словно хрустальные бокалы, роняя на пересушенные скатерти снегов кровавые капли.

Звери ёжатся под меховыми куртками, трут лопатками одна об другую, стараясь согреться, вздрагивают, бегут от мороза, да не тут-то было, – от него, как от себя, не убежишь.

Где-то вдали теплится холодная свеча солнца. Ветер осторожно раздувает его пламя, и, разгораясь всё ярче, оно словно бы дразнит. От студёного его света заметнее и острые скулы бледных пригорков, и нездоровые, впалые овражки ланит продрогшей земли, и видимое едва, слабое биение жизни на длинной шее рек, обёрнутых в шёлковый шарф позёмки.

Лес переступает с ноги на ногу, стучит сапогами на одном месте каблучком о каблучок, так озяб. Дятел лениво играет кастаньетами обмороженного ствола. Роняет через раз ущербные обмороженные звуки. Хочется подойти поближе, подобрать на память, хотя один, но дорогу преграждает нешироким шаг лисицы. Не поспела она за зайцем, чей бег заметен не глазу, но по следам щёпотью. Мышам тоже нынче не до прогулок, отсыпаясь на пороге весны, они немы и незаметны.

С досады, спугнула лиса косулю с нагретого места зря, а та, бежала спросонья прочь, да не в чащу, – к людям на крыльцо, и ну стучаться. Но, видать, спали там крепко, не услыхали, не отворили. А после уже, утро варило снежную кашу из горсти оставленных косулей ячменных следов. След к следу, крупинка к крупинке.

Студёный ветер сгребает ближе к жилью серо-коричневые клубы воробышей. Там же, в ожидании угощения, синицы ранят крылья об острые края вырытых воробьями в толще снега нор. Их тёмные клювы от стужи кажутся синими, огрубевшими губами. И даже подле горсти вываленного в жиру овса, закутанные в пуховые платки синицы вызывают сострадание.

– Собрать бы их всех, да запазуху… – Мечтает он, отвернувшись к окну.

– Да, вот и я про то ж, – Подобным же манером скрывая слёзы жалости, отвечает ему она.

А синица, словно расслышав, взлетела к окошку, прижалась

щекой к стеклу, и подмигнув весёлым глазом, пропела своё «Не-гру-сти!», поделившись своим дыханием, особо драгоценным в стужу теплом.

Кто зачем живёт

Зачем вы живёте? Чтобы после некто похвалил за это? Отчего хотите быть всё время на виду, и чтобы превозносили, называли и славным, и хорошим, поддакивали, кивали головой согласно? Без того никак? Идёте, словно по шатким мосткам, раскачиваясь под присмотром чужих взглядов, слов и мнений. Неужто нет своих? А если отвернутся все, замолчат разом? Так что же, не сумеете пройти? Сами… Не поймёте куда? Без понуканий. Не бегом, зажмурив глаза, а спокойно и размеренно, вдумчиво, с радостным удовольствием, смакуя каждый вдох, каждое мгновение…

Прошлогодние семена клёна на снегу, как коричневые бабочки. Глядя на них, верится, что зима не всерьёз, и мороз под тридцать – опечатка в сводках прогноза погоды, а глаза слезятся от яркого солнца, но вовсе не от холода… А в доме зябко по причине сквозняка от связки заледеневших дров, и ручеёк талой воды от них, как кот, тянет бледную лапу под низкий шкап, спрятав когти. Но что же он там хочет найти? Весна за порогом, здесь её нет. Хотя… Божьи коровки, выбираясь из-под засохших листов столетника[96], как из-под одеял, из углов оконных рам, потягиваются до хруста в надкрыльях, зевают сладко, взлетают на шторы и качаются там, воображая, что это огромный листок. Цвет, конечно, не очень похож, но, в общем, в ожидании, пока солнце разбудит настоящие, сойдёт и так…

Олень, петляя по лесу, размашисто чертит своё «Я люблю…» на снегу. Лис не столь многословен. Оставляет повсюду записки, писанные разведёнными чаем из чаги чернилами. Та, кому они предназначены, найдёт их и явится в условленный час. Она никогда не опаздывает, и верна, только вот большую часть года очень занята.

И ведь нет дела лису думать, – как и кто посмотрит на то, чем озабочен он, куда идёт и с кем, ибо тревожится об исходе верных дел, растит детей, кормит, учит, бережёт лесной дом и для себя, и для внучат. А спроси его кто, зачем живёт, – рассмеётся, поморщит чёрный нос, чихнёт, да побежит дальше. Некогда ему по пустякам-то, лясы точить…

Ветер…

I

Ветер прикрыл за собой обитую ватой облака дверь, на землю посыпалась сухая пыль мелкого снега, и шуршанием своим по стволу, в котором находилось дупло белки, потревожила её. Мысь

всполошилась, словно на потеху. Пробежалась в одну сторону, обернулась на другую, постояла в зарослях… подумала и возвращаясь на дерево перехватывалась лапами по стволу гулко: "Шлёп! Шлёп! Шлёп!" Он гудел натужно, как язычок колокола, но лязгнуть звуком, зазвенеть так и не осмелел.

На дне банки воспоминаний каждого столько мути… Она из драгоценных дней, часов и минут, которые мы провожаем равнодушным взглядом, ровно, как и вытекающую воду, или лепестки пламени, что живы, пока живо то, что питает их. Струя воды теряет свою упругость, делается вялой, прерывистой, а после чихает вдруг, пенится, и вот уже последняя капля оставляет после себя лишь мокрое пятно на песке. Мы тут же пугаемся, принимаемся хлопотать напрасно телом и душой, обещаем быть внимательнее впредь, но, стоит потоку возобновиться, как теряем нить разговора, смысла, жизни… Возвращаем себе прежнюю беспечность.

Но ведь надо-то всего, что стараться изо всех сил не потерять одну светлую мысль, которую ясным лучом послало Провидение. Мало одной? Ну, сберегите хотя бы её! Звучит складно, но сколь салфеток приходится измять, по ходу дела…

Отряхнувшись, как мокрая собака, ветер разбрызгал вокруг прозрачные пёрышки дождя, и те, что не пропали, но пристали к стёклам, мороз пригладил мокрым пальцем, как кленовый листок в травнике[97].

II

Вспоминаю свои семь, мой день рождения, и огромный букет, что я вызвался нести сам вниз лепестками, на виду у всех. Встречные прохожие улыбались мне и клонилось назад, точно как те тюльпаны, что пытался вырвать из рук ветер. Он же раскачивал и челюсть кашалота над калиткой музея моряка.

По утрам мы пили немного густой томатный сок, что подавали в кафе на берегу, такой же вкусный, как утро над моим морем… То ли в шутку, то ли всерьёз, мама преподнесла мне его тогда: «Дарю!» – Сказала она. – «Не смогла вот только упаковать. Не отыскалось подходящей ему корзинки.»

И как мне теперь быть с тем подарком, коли оно там, а я тут?

Мы с братом бродили между дюн, похожих на спящих у берега верблюдов. Те давали поваляться на одеялах своих мягких, тёплых горбов, и мы лежали, любуясь бирюзой неба, а после катились кубарем, большими клубками перекати-поля[98], и останавливаясь у самой воды, пели навстречу ветру: «О, море-

море! Преданным скалам…» Прибой аплодировал нам волнами, и щедро осыпал мелкими янтарными крошками. Разгорячённые, мы спешили прильнуть к его прохладной груди, и, хотя замерзали скоро, не торопились уходить, как будто бы подозревая, что расставание будет долгим.

Нам хотелось запомнить его таким, – голубоглазым, с соломенными кудрями песчаных дюн, с молочной пеной волн на губах и карамелью янтаря с увязнувшими в его нежности мошками, некогда застигнутыми врасплох. Можно ли унести память о море с собой, до следующего «когда-нибудь», до очередного «потом». Толкование этих фраз с любого языка на каждый, вполне определённо означает «никогда».

Много лет спустя мне подарили мешок зелёного кофе. Это только так говорится «зелёный», на самом деле он был похож на мелкую, обсушенную солнцем морскую гальку. Я кидал горсть зёрен на чугунную сковородку, где они становились лёгкими, ломкими и варил из них кофе в медной турке. Густой и крепкий, как ночь. Пьянящий, как ветер с моря.

III

Ветер. Он – та тяжёлая книга с тонкими полупрозрачными листами, которую, прежде чем открыть, нужно облокотить о камень у дороги. Ветер несёт в себе звёздные россыпи запахов и звуков, но отчётливо слышно лишь те, что узнаёт счастье, живущее в тебе всегда.

Всё будет хорошо

Февраль устроил постирушку. Отовсюду капает, пар тумана клубится над тазом пруда, полным белых сот снежной пены. Седой дятел сыт, – размороженный к завтраку изюм оказался как нельзя кстати. Довольство в его глазах и от насыщения, и от того, что вот, совсем немного ещё, и вянущие лепестки сугробов можно будет отыскать лишь в глухой тени, до которой нет дела никому.

Воробьи не спешат скинуть с себя серые, дымному табаку в цвет, пуховые платки, но уже достаточно небрежны, суеумны[99]. Распустив концы одежд, роняют в воду уголки, так что каплет с них весьма обильно, и едва ли не нараспашку раскрыта душа. Того и гляди, подхватят простуду, что об эту пору возможна на раз-два.

Синицы опрометчивы не столь. Подобрав шаровары, они переступают через лужи, стараясь оставить нетронутой их безупречную поверхность, а если вдруг случайно вымочат штанишки, тут же отожмут наскоро и просушат на сквозняке. И это при том, что синицы в каждую минуту готовы сбросить с себя всё, и окунуться в любую, мало-мальски приличную прорубь, так охочи до купания!

Когда, весь в клочьях мыльной пены, февраль добрался, наконец, до птичьей кормушки, то у него не было уже сил ни на что. Так только, – плеснул водицей для вида, размочить немного сухарик льда, от чего открылись припрятанные снегопадом остатки прежних застолий. Довольные и тем, птицы принялись оживлённо пировать, пока на шум не заявилась серая кошка, которую ещё во младенчестве спасли, отогрев из куска замершей на морозе воды. Вместе с половиной её задней лапы и частью хвоста, навсегда вмёрзшими в лёд, там же остались стыдливость и осторожность. Нимало не смущаясь, кошка вспрыгнула на кормушку и принялась трапезничать, – увечье не сделало её менее проворной, но лишь изощрило. С лёгкой, извиняющей жизнь улыбкой, она поедала овёс, лизала неоттаявшую воду, и пыталась выгрызть изо льда нечто, давно потерявшее название, но ещё сохранившее вкус.

– Та-ра-рам, та-ра-рам, та-ра-рам, там-там! – Наблюдая за кошкой, напевал себе под нос февраль, и неумело вальсировал при этом, шевеля одними лишь седыми бровями, да постукивая холодными пальцами по размякшему от музыки сугробу, оставляя в нём серые мокрые следы. Он был несказанно рад, что скоро сможет посидеть в уголочке и передохнуть, наблюдая со стороны,

как расстарается следующий за ним месяц. Ведь от того-то февраль и короче других, прочих, что на его долю досталось всё, о чём только может мечтать настоящая зима: и стужа, и оттепель, и надежда на то, что вскоре всё наладится, всё будет хорошо. Как в жизни…

notes

Примечания

1

стукнуть, пнуть

2

эгоизм

З

Верхний – цирковой артист, который стоит на голове, руках или плечах у **нижнего**: делает сальто и другие прыжки с подкидной доски, с плеч, с рук на плечи, на руки **нижнего**. **Нижний** принимает себе на плечи, на руки верхнего после выполнения им трюков в воздухе. На плечах и голове **нижнего** верхний делает стойки.

4

у дятла язык растет из правой ноздри,на выходе разделяется на две половины, которые охватывают всю голову с шеей и выходят через отверстие в клюве, где снова соединяются; в полёте язык размещается в скрученном состоянии в ноздре и под кожицей позади шеи; длина языка – треть длины тела дятла

бросать, делать что-л. небрежно, как попало, говорить необдуманно, бестактно

6

Азбука телеграфа Шаппа

7

9 в нумерологии идеализм; любой пень – вертикальная черта, в азбуке телеграфа Шаппа – цифра 9

p. 879, B. O. Unbegaun «Russian Surnames» , Oxford University Press, London, 1972

пропитанные хвойными смолами птицы не разлагаются после гибели

по причине нетленности останков пропитанной хвойными смолами птицы и участии в извлечении гвоздей из рук Христа, описанной в мифологии, клёст был весьма почитаем в народе

юных клестов, до формирования правильного «прикуса» клюва, кормят родители

12

4,45 см x 10 = 44,5 см

13

щебетать

сильно ударить

15

слух дятла тоньше зрения

голод не тётка, пирожка не подсунет

сестра отца или матери (двоюродная тетка)

двоюродная сестра, дочь сестры матери или отца

название птицы от «сияние»

так называются голубые пёрышки на крыльях

21

(лат. Cynips quercusfolii) – вид насекомых из надсемейства орехотворок. После того, как самка откладывает яйцо в ткань листа на листьях дуба, возникают шаровидные галлы, шары.

стержневая корневая система дуба; центр силы (перен.)

то, чем был занят

синицы всё пробуют на вкус языком

25

Том 24. Книга I. Собаки – Струна.– М., 1976. 608 стр., илл.; 35 л. илл. и карт.

познание Добра и Зла

применить

28

изжелта-белый

29

бархатный

30

Ребристый рагий (лат. Rhagium inquisitor)

31

неприличный, постыдный

32

Раковина для стока экскрементов и мочи в уборных, оборудованных канализацией

когда я ем , я глух и нем

перефраз «умному – достаточно»

35

тошнота беременных

резон

37

Людвиг Морицевич Метцль, родился в 1854 году в Праге, основатель первого в России рекламного агентства «Центральная контора объявлений» в Петербурге в 1878, автор фразы «Рекалама – двигатель торговли»

38

психология коричневого цвета в рекламе: ассоциация с грязью

39

Вячеслав Иванович Кузнецов (24 июля 1957 – 5 ноября 1999 Воронеж)

40

Юрий Хой «Сектор Газа»

41

красный

42

Трентеполия (лат. Trentepohlia) – красная нитчатая водоросль на коре деревьев зимой, говорит о здоровом лесе

43

невесомый

нотный стан

нарицательное название художника-пейзажиста

из ячменя творят пиво

47

небо

краска, синяя, берлинская лазурь

49

Употр. при подчеркивании истинности и правоты чего-л.

одна из четырех стран света, противоположная югу; зима, полночь, морское норд

обозначение музыкального темпа: сдержанно

переживание, душевное волнение, страсть, любовь

53

рыжий клоун

сокровенное место

расчётливо

левиафан – «Железо он считает за солому, медь за гнилое дерево.» Книга Иова, гл.41

инфаркт

ближайшие родственники крокодилов – птицы

графит, материал тёмно-серого и чёрного цвета придаёт мрамору голубой оттенок

список обещанных танцев на балу

61

марка спиртного

яровой злак, для изготовления пива, муки, суррогата кофе и корма скоту

цвет говорит о состоянии здоровья птицы

омывает южные берега Европы

расстояние между концами растянутых большого и указательного пальцев

неприличный поступок

67

лат. Pogóstemon cáblin

68

160 см

69

скабрезно

70

беречь

штука ткани – рулон 48-79 локтей, локоть = 54,7 см

бедренная кость – os femoris лат.

гороховидная кость pisiforme os лат.

тотальное отчуждение человека в мире и социуме

хордовые

во время брачного периода, у самцов косуль кожа на груди и шее становится заметно толще, также становятся крепкими и рога

не все зародыши косули становятся новорождёнными, часть из них рассасывается на стадии зародыша

78

Тот, кто проявляет заботу, попечение о ком-л., чем-л.

лекало

80

Всѣ́мъ вре́мя и вре́мя вся́цѣй ве́щи подъ небесе́мъ (Экклезиаст)

81

Книга Екклезиаста (Екк.3,1–8)

82

талант

предназначение

анизотропия

85

чип

космический

87

H2SO4

88

HF

по Парацельсу! – суть

заглубленное

гавань (В. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка)

недостижимый

93

бережно

лещина(орешник) относится к семейству берёзовых

95

лишнее

96

Ало́э древови́дное (лат. Alóe arboréscens)

собрание сухих растений, гербарий

перекати-поле может получаться из отмерших растений разных семейств: спаржа лекарственная, капустные, гвоздичные, маревые, зонтичные, свинчатковые, яснотковые, астровые

99

безрассудный